

Ирина Муравьёва – самый, по-моему, интересный русский прозаик новейшего времени. Безупречная память, тонкий слух, высокопрофессиональная наблюдательность и дар сострадания – что ещё нужно хорошему писателю? Всем этим обладает Муравьёва. Бог ей в помощь.

Александр Кабаков

ИРИНА



Муравьёва

День  
ангела



ВЫСОКАЯ ПРОЗА



ЭКСМО

Ирина Муравьева

**День ангела**

«ЭКСМО»

2010

**Муравьева И. Л.**

День ангела / И. Л. Муравьева — «Эксмо», 2010

ISBN 978-5-699-36776-4

Семья русских эмигрантов. Три поколения. Разные характеры и судьбы – и одинаковое мужество идти навстречу своей любви, даже если это любовь-грех, любовь-голод, любовь-наркотик. Любовь, которая перемежается с реальным голодом, настоящими наркотиками, ужасом войн и революций. Но герои романа готовы отвечать за собственный выбор. Они не только напряженно размышляют о том, оставляет ли Бог человека, оказавшегося на самом краю, и что же делать с жадой по своему запретному и беспредельному «я». Они способны видеть ангела, который тоже смотрит на них – и на границе между жизнью и смертью, и из-под купола храма, и глазами близких людей.

ISBN 978-5-699-36776-4

© Муравьева И. Л., 2010

© Эксмо, 2010

## Содержание

Дневник	7
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой	8
Дневник	21
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой	27
Дневник	29
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой	31
Дневник	32
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой	36
Дневник	38
Голод	41
Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой	42
Конец ознакомительного фрагмента.	45

# Ирина Муравьева

## День ангела

О. А.

Ночью двадцать третьего января весь дом был разбужен грозой. На сонные бульвары обрушился ливень, и небо, которое знали, за что это послано людям, деревьям, зверью по лесам, сизым рыбам в озерах, пошло раскрываться все глубже и глубже, выворачивать внутренности, ослепляя внезапной мертвой белизной и содрогаясь. Судороги молнии распарывали его, и вдруг становилось светло, словно днем.

В эту ночь не стало деда, который накануне неожиданно почувствовал себя лучше и много шутил с доктором Пера, забежавшим, как всегда, ненадолго, после целого дня в тесном кабинете, где он принимал больных и где, прислоненная к настольной лампе, стояла фотография его детей – мальчика и девочки – на фоне большого, залитого светом, сиявшего каждой соломкою стога. Дети были близнецами и погибли в автомобильной катастрофе восемь лет назад вместе с матерью. На фотографии видно, что они отбрасывают всего лишь одну, очень узкую тень на стену сарая, как будто еще одной тени и быть не должно, раз дети все сделали вместе: сперва родились, а потом и погибли.

Деду стало намного лучше, и после ухода доктора Пера он попросил поесть и съел две ложки супа. Потом он заснул. Бабушка долго стояла на коленях у кровати и, взяв его руку в свои, тремя этими руками гладила саму себя по лицу. Потом поднялась и легла в соседней маленькой комнате на узком диване. А ночью дед умер. Гроза разбудила его, и, приподнявшись на подушках – весь белый, с растрепанными волосами, – он начал звать бабушку. Она вскочила и побежала к нему. Дед задыхался, в груди его, осыпанной мелкими каплями пота, клокотало, скрипело, как будто и там шла гроза. Бабушка прыгающими руками налила в стакан воды, попыталась напоить его, но дед неожиданно вятно сказал:

– «...проходит образ мира сего...»

Восторженный ужас остановился в его глазах, но тут по всей улице погас свет, и дед – в темноте, в ливне, в грохоте – умер.

Отпевали его на рю Дарю. От света свечей мертвое лицо деда то казалось румяным, то вдруг начинало неярко сиять, как костяное, большие седые усы, разросшиеся за болезнь, сквозили. А бабушка была красивой даже тогда, когда, сгорбившись, стояла у гроба и пристально, с удивленной тоской, всматривалась в умершего, как будто ждала, что он скажет ей что-то. С той же удивленной тоской она трижды поцеловала его, и бережно поправила волосы на его лбу, и что-то шепнула, но тихо, совсем еле слышно. Потом состоялись поминки. Бабушка просила всех выпить, поесть, помянуть, но вскоре затихла, отошла к окну, отвернулась, и плечи ее под длинной черной шалью высоко приподнялись, словно она набирала силы для того, чтобы зарыдать или засмеяться, но не зарыдала, не засмеялась, а так и стояла с поднятыми черными плечами, смотрела на улицу. Может быть, она и увидела тогда, как через неделю – похудевшая, потемневшая и рассеянная – будет переходить эту улицу с болонкой по имени Мушка, и тут ее собьет машина, а Мушка приведет полицейских обратно домой и там заскулит и завоет у двери?

На бабушкиных похоронах все шепотом повторяли одно и то же, все говорили, что она не могла жить после смерти мужа и сына, ей жить стало незачем, и она, как слепая, переходила эту тихую безобидную улицу, на которой никто никогда не попадал ни под какие машины, а она попала, произошло кровоизлияние в мозг, и бабушка скончалась на месте. Слава богу, что Мушка привела полицейских домой, ведь в сумочке у погибшей не оказалось никаких документов. На мать и на Митю смотрели с тревогой, как будто боялись, что вскоре придется

прощаться и с ними, потому что за последние три года эта семья – такая, казалось, хорошая, добрая – потеряла сразу троих. Все помнили, как страшно закричал дед, когда гроб с телом его единственного сына, Митиного отца, начал медленно опускаться:

– Ли-и-иза! Что мы с тобой делаем!

А бабушка, не отрывая глаз от нарядного, светлого ящика, который приостановился и немного повисел на своих ремнях, перед тем как окончательно налечь на красновато-лиловую землю, – бабушка только гневно затрясла головой, как будто бы дед своим криком мешал ей.

Мать долго не могла заставить себя притронуться к бабушкиным вещам, но потом быстро собрала в несколько коробок все ее шляпы и платья и тогда же, между шляпами, нашла эти самые «papers», эти тетради, в которые бабушка по непонятной причине записывала свою жизнь. Вместе с «papers» обнаружили и письма бабушкиной младшей сестры Насти, Анастасии Беккет, которая так и не приехала на похороны.

## *Дневник* **Елизаветы Александровны Ушаковой**

**Париж, 1955 г.**

Скоро месяц, как мы узнали, что *le bébé est en route*.<sup>1</sup> Это сразу перевернуло нашу жизнь с Георгием. Мы стали спокойнее, мягче друг с другом. Трудно даже объяснить эту перемену. Ленечка, судя по всему, немного стесняется того, что скоро станет отцом, и они с Верой, сколько можно, скрывали от нас эту новость. В моем сыне много детского, и Вера ему подыгрывает, притворяется наивнее и беспомощнее, чем она есть на самом деле. Я съездила к маме и папе в Тулузу. Слава богу, что они наконец перебрались, а то мама уже с ума сходила в нашей деревне. Она сильно согнулась, но взгляд все такой же голубой и яркий, даже ослепляет немного.

Я ей сказала:

– Подумай! А ты ведь почти что прабабка!

Она ответила:

– Прабабка – и ладно. А ты-то, бедняжка? Какая ж ты бабка?

Быстро прошла моя жизнь! Берин живот растет не по дням, а по часам, все лицо усыпано темно-желтыми пятнами. Иногда я чувствую, что я ей неприятна. Может ли быть, что она догадывается? Однажды она спросила меня, как это вышло, что Георгий старше меня на целое поколение? Пришлось рассказать, что он тоже жил в Тарбе и первое время помогал моему отцу объезжать лошадей. Он попал туда в двадцать пятом году, когда мне было двадцать три, а ему сорок пять. Вера не может этого понять. Разве мало было парней? Я ей попробовала объяснить, что парней было много, но все больше французы, а родители хотели, чтобы я вышла только за русского, за своего, и я была с ними согласна. Она так и не поверила мне. Я не испытываю к Вере никаких недобрых чувств, боже сохрани! Если моему сыну хорошо, то мне ничего и не нужно. Она очень привлекательна. Сложена, как негротянка: тонкая талия и *derrière*<sup>2</sup> выпуклый, как это бывает у негротянок. Глаза почти лиловые. Мой сын, наверное, очень любит ее тело. Я это чувствую. Не знаю только, отвечает ли она взаимностью, счастлива ли она с ним.

Завтра под предлогом, что мне нужно навестить Диди, уезжаю с Н. на три дня. Господи! А я ведь почти уже бабка, *grand-mami*!

---

<sup>1</sup> Будет ребенок (*франц.*).

<sup>2</sup> Зад (*франц.*).

## Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой

**Москва, 1933 г.**

Лиза, мы наконец добрались до Москвы. Устали, намучились. Приехали в субботу под самый вечер. На вокзал за нами прислали «Кадиллак» с шофером, который удивил меня тем, что за всю дорогу не произнес ни слова. Первые два месяца мы будем жить в гостинице «Ново-Московская» с видом на Кремль и на Москву-реку. Обстановка в этой гостинице роскошная, везде зеркала, много красного бархата, ярко горят лампы, но ванну так и не удалось наполнить водой, потому что нечем заткнуть сток. Патрик вызвал дежурного. Тот сильно разволновался, что не угодил иностранцам, потом сказал, что завтра они все починят, а пока он предлагает либо сесть на эту дырку, либо заткнуть ее пяткой. После ухода дежурного мы с Патриком хохотали и мерились пятками: какой пяткой лучше заткнуть. Ночью у меня началась мигрень, а все лекарства мы забыли в Лондоне. Патрик дал мне немного коньяка.

В девять встали и пошли завтракать. По всему коридору проложена красная ковровая дорожка, много пальм в кадках, на горничных белые фартуки и до того жестко накрахмаленные накладки, что кажутся мраморными. В большой, жарко натопленной столовой сначала, кроме нас, никого не было. Нам предложили жареные пирожки с очень вкусной начинкой, черную икру, масло, джем и компот из ананасов. Меня эта роскошь неприятно удивила: ведь мы приехали в пролетарское государство, где народ живет, разумеется, совсем иначе, – зачем же пускать пыль в глаза? Сразу же следом за нами вошли не то немцы, не то шведы – очень хорошо одетые, выглаженные, вымытые до блеска, с презрительными усмешками на лицах, как будто они уверены, что вся эта великолепная жизнь устроена именно для них, и потому принимают ее как должное, разрешают кормить себя черной икрой и компотами из ананасов. Мы с Патриком быстро поели и вернулись в номер.

За окнами открывается вся огромная Москва с железным мостом через реку и сияющими сине-зелеными куполами храма Василия Блаженного. Вдруг прямо под окнами раздались звуки духового оркестра, и медленно прополз грузовик с открытым гробом, вокруг которого на скамьях сидели родственники, одетые в черное. Сверху мне было отчетливо видно застывшее лицо покойника, до подбородка укрытого красным покрывалом и осыпанного мелкими белыми астрами. За грузовиком вышагивал оркестр, дуя в свои ослепительные трубы. Мне не понравилось, что первое наше утро в Москве началось этими похоронами, кольнуло тяжелое предчувствие, но Патрик, который всегда угадывает, что со мной, начал объяснять, что мы приехали в один из самых экзотических городов на свете, где столько всего строится, все меняется прямо на глазах, и нам будет все интересно. Наверное, правда.

В центре Москва перерыта-перекопана, как будто вспорота наизнанку. На каждом шагу – желтые горы подмерзшей земли, половина дорог утопает в месиве темно-красной глины. Ни пройти, ни проехать. Везде грохочущие экскаваторы, озабоченные фигуры мужчин в засаленных кепках и женщин в ватниках и красных косынках. Женщины здесь работают наравне с мужчинами – все вместе строят метро, которое должно, как говорят, открыться к годовщине революции. Мы с Патриком вышли прогуляться по городу, и меня поразило, как выглядят люди вблизи. На их усталых и серых лицах нет ничего общего с изображениями на тех радостных плакатах, которыми пестрит город. Одеты все бедно и скудно, толчея на улицах немислимая, трамваи набиты битком. Все натыкаются друг на друга, огрызаются, самых нерасторопных и слабых прибавляет к стенам домов, и они стоят там до тех пор, пока не удастся опять ввинтиться в безжалостный людской поток. Но знаешь, что меня сразу поразило? В людях заметна какая-то напряженная дисциплинированность, словно они все время чувствуют, что за ними

присматривают и могут наказать. Мы с Патриком решили вернуться обратно в гостиницу на трамвае. На остановке, когда мы подошли, было всего пять человек, но и они тут же выстроились друг другу в затылок. То же самое у газетных и табачных киосков. Никто не стоит просто так, сам по себе, все стремятся занять какую-нибудь очередь, словно без очереди жизнь сразу же распадется. Много нищих, очень много! Особенно тяжелое впечатление производят беспризорные дети. Нас предупреждали в посольстве, что это очень ловкие воришки и нужно как можно крепче прижимать к себе сумочки, но сейчас, увидев этих детей, истощенных, бледных, чумазых, до которых никому нет дела, я почувствовала такой стыд, словно это по моей вине они бегают по улице и просят на хлеб.

В среду мы были приглашены в американское посольство на обед. Я еще в Лондоне слышала, что Буллит и его жена задают в Москве какие-то неслыханные пиры и праздники. Утром я пересмотрела и перемерила все, что у меня есть. Остановилась на сером длинном платье из шелка, которое мне сшили в Риге. Сразу после завтрака пошел дождь и сильно запахло гниющей листвой, которой засыпаны улицы. В шесть за нами приехала машина, и я накинула поверх платья драповое пальто с белым песцом, которое мне тоже сшили в Риге. Машина наша остановилась у великолепно освещенного особняка, похожего на настоящий дворец.

То, что я увидела, оказалось намного богаче и пышнее, чем мы с Патриком представляли себе раньше. Женщины одеты роскошно. Многие сильно обнажены, в драгоценностях и мехах. Причем жемчуг и бусы теперь носят не так, как раньше, а перекидывают их на открытые спины, чтобы привлечь внимание к своему голому телу. А из мехов больше всего песцов и чернобурок. Было, правда, и несколько ярко-рыжих, очень пушистых лис. Красятся теперь тоже не так, как раньше, – ни темных теней на веках, ни бордовой помады. Брови очень тонкие, ниточкой, а губы ярко-алые с золотистым или вишневым отливом. Почти все дамы были на очень высоких каблуках. Но угощение, Лиза! Столы буквально ломились от еды. Горы черной икры, ананасы, виноград, бананы. Я в своем сером платье, с одним только маминым медальончиком на шее, чувствовала себя просто Золушкой. Рядом со мной все крутилась какая-то дама с мышинной мордочкой и так сверкала своими бриллиантами, что больно было глазам. Оказалось, что это жена какого-то крупного военного начальника.

В большом беломраморном зале с колоннами танцевало несколько очень элегантных пар. Лиза, *J'ai hallucine!*<sup>3</sup> Представь себе окно в форме гигантского веера, высоченный сводчатый потолок и в самом центре его неправдоподобно огромную, полыхающую огнями хрустальную люстру! Патрик сказал, что оркестр выписали из Стокгольма. Дирижер во фраке до пят, с жестким огненным бобриком, как будто весь в иглах, был похож на какого-то фантастического ежа.

Потом мы попали в столовую. Столовая – очень пестрая, яркая, украшена в стиле русс, по углам – клетки с новорожденными ягнятами, козлятами, был даже один медвежонок. В стеклянной галерее чудесный зимний сад, роскошные цветы, зреют лимоны и апельсины. Просто как в сказке! На каждом столе стояли большие бело-розовые букеты: розы, лилии и нарциссы. Маки, привезенные из Голландии, разложили так: по одному цветку к каждому прибору. Ложки, ножи и вилки – массивные, серебряные, с золотыми вензелями. Голова у меня закружилась от этого блеска, от звуков и запахов. В три часа утра заиграли гармоники и запели петухи, которые висели под самым потолком столовой в ажурных позолоченных клетках. Все гости засмеялись, захлопали в ладоши, а Буллит, багровый и потный от выпитого, приподнялся и поклонился.

Теперь, Лиза, главное: я познакомилась со знаменитым Дюранти! Мы сидели за одним столом с ним и с этой идиоткой Анной Стронг, у которой губы были так неряшливо покрашены оранжевым, словно она клоун в цирке. У Дюранти очень насмешливое лицо, глаза серые, про-

---

<sup>3</sup> Я была поражена (*франц.*).

зрачные. В его лице часто появляется какая-то особая твердость, вернее сказать, неподвижность, почти парализованность, с помощью которой, мне кажется, он отводит от себя постороннее любопытство. Дюранти сильно хромает, но это нисколько не мешает, напротив, даже придает мужества. Я уже знала от Патрика, что Дюранти недавно получил Pulitzer Prize<sup>4</sup> за свои репортажи о положении дел на Украине. Он уже несколько лет живет в Москве и много ездил по стране, так что к его мнению всерьез прислушиваются и в Европе, и в Америке. После ужина Патрик куда-то отошел, Стронг тоже умчалась со своими морковными губами, и мы с Дюранти остались одни за нашим столом. Я смутилась и неловко поздравила его с этой престижной премией. Он вдруг очень близко наклонился к моему лицу, словно хотел понюхать мои глаза и волосы, и засмеялся странным деревянным смехом:

– Да что репортажи! Они все равно все подохнут от голода. *Ça me dit rien!*<sup>5</sup>

Я так резко отшатнулась от него, что задела локтем бутылку с недопитым шампанским, она упала, и шампанское пролилось мне на ноги. Он увидел это, и у него как-то бешено заблестели глаза:

– Хотите, я допью остатки вина с вашего колена?

– Что?! – Я по-настоящему испугалась: вдруг показалось, что он готов наброситься на меня.

– Хочу быть галантным французом, – засмеялся он одними губами, а глаза так и остались бешеными. – Вы говорите, что Франция – ваша родина, ведь так? Но и мои золотые годы прошли в *Latin Quartier*.<sup>6</sup> Мы с вами почти земляки!

Я совсем растерялась, но все же попробовала сменить тему:

– Неужели русские крестьяне действительно голодают? Нам говорили об этом еще в Англии. Почему же вы тогда не пишете все, как есть на самом деле?

Он сморщился и взял меня за руку, словно я была ребенком, которого нужно успокоить:

– Во-первых, немного пишу. Учись читать между строчек... А во-вторых, какая разница? Европа – давно царство смерти. У людей всегда была развита потребность в жестокости и страсть к убийству. *Ça booster le moral!*<sup>7</sup> А русским не нужно мешать. Пусть они сами разбираются в своей каше. *C'est le jour de la sainte touche!*<sup>8</sup>

Я только глотала ртом воздух, но ничего не говорила, не могла сообразить, как ответить ему, и тогда он опять засмеялся и опять близко-близко наклонился ко мне, так близко, что я почувствовала, какое у него горячее и напряженное тело.

– Хотите, я вас покатаю по городу? У меня здесь машина с шофером, я к вашим услугам.

Мне казалось, что на нас все смотрят, все видят, как он держит меня за руку и так близко наклоняется ко мне, словно вот-вот обнимет и начнет целовать!

– Нет, нет, не хочу!

– Вы в самом деле русская? – прошептал он. – Мне говорили, что Беккет женился на русской. В каком же году вы сбежали?

– В двадцатом.

– И где теперь ваши родители?

– На юге, во Франции. А сестра с семьей в Париже. Она замужем, у нее маленький сын.

– Ну, видите, как все устроилось. Зачем вы приехали в это болото?

Я не успела ответить. Вернулся Патрик и повел меня к московским интеллигентам, которые держались особняком. Мне кажется, что они очень растерялись, когда услышали, что я

---

<sup>4</sup> *Пулитцеровская премия* – одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра.

<sup>5</sup> Меня это не вдохновляет (*франц.*).

<sup>6</sup> Латинский квартал (*франц.*).

<sup>7</sup> Это поднимает настроение (*франц.*).

<sup>8</sup> Это запутанное дело (*франц.*).

русская по происхождению. Я не знала ни одного из названных имен, кроме режиссера Мейерхольда и его жены актрисы Зинаиды Райх. Эта пара произвела на меня отталкивающее впечатление. У него волосы стоят дыбом, а лицо лихорадочное, жалкое, но злое, которое часто становится надменным, а глаза почти закрываются, словно он сейчас упадет в обморок. И речь тоже странная: то быстрая громкая скороговорка, а то он начинает бормотать себе под нос и через секунду останавливается, глубоко задумывается. Его жена Зинаида Райх – большая, грузная, с выразительными и немного истеричными глазами. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не эта тяжелая нижняя челюсть и слишком яркий грим, сквозь который и лицо не разглядишь. Еще был Бухарин с женой. Они оба выглядят старомодно, и жена некрасиво, по-старушечьи одета. Я разговаривала с Мейерхольдами и вдруг всей спиной почувствовала, что на меня смотрят. Обернулась: Дюранти! Опять эти наглые блестящие глаза, от которых я вся покрываюсь мурашками. Зачем он так смотрит? И все ведь, наверное, заметили это!

В гостиницу мы вернулись, когда уже светало. Патрик сказал мне, что Дюранти, без сомнения, очень талантливый журналист, но про него ходят дурные слухи. Известно, например, что после войны он долго жил в Париже и там предавался самому низкому разврату, курил опиум, участвовал в каких-то немислимых оргиях, на которых приносили жертвы дьяволу. Здесь он один, без семьи, жена его, говорят, осталась в Париже.

Когда мы ложились в постель и Москва за окнами уже вся порозовела, наполнилась звуками, гудками, голосами, Патрик вдруг несколько раз и очень настойчиво повторил мне, чтобы я держалась подальше от Дюранти.

### **Вермонт, наше время**

Вермонт – это рай. По утрам в нем голоса петухи, и грустные с самого младенчества лошади пасутся в лугах, в медом пахнущих травах. Замечено было, что все уроженцы Вермонта особенно часто, с несмелою радостью, смотрят на небо. Под небом Вермонта, таким безмятежным, особенно трудно убить и замучить. Не только человека, с его сильно бьющимся сердцем, но и зверя, который застывает среди ветвей легкого, сквозящего сине-зелеными листьями дерева и скромно стоит, пока не почувствует смерти, и рыбу с ее очень шелковым ртом, который крючок рыболова прорвет за секунду, и кровь нежной рыбы повиснет на нитке, а глаза закатятся, как будто бы рыба теряет сознание.

Русским людям долгие годы не приходило в голову, что есть вот Вермонт, и Вермонт – это рай. Им приходило в голову только то, что в этом далеком и туманном Вермонте живет Солженицын, великий писатель. Русским людям вообще очень часто приходило в голову одно запрещенное, они устремлялись к нему непрерывно. И так – в вечном хрипе и споре, кашле от сигарет, запахе спиртных напитков, жареного картофеля, бутылочного кефира и той кислоты, которая выделяется человеческим желудком (зывается «желудочной» для упрощения!) – шла русская жизнь очень долгие годы. Одни собирались угнать самолет, другие писали правительству письма. Любили друг друга. Терзали друг друга: и те, и другие. Ночами на кухнях лепили доносы. Ожоги лечили мочой, редко брились. Играли в пинг-понг, часто слушали Баха. Дрались, презирали. Хотели жить вечно. Мужчины бесстрашно учились ивриту, а женщины жадно, легко отдавались, рожали детей, близоруких и умных. Детей отдавали, как правило, мамам, курящим, начитанным и раздраженным, а сами бросались обратно к мужчинам, чтоб дальше бороться и спать с ними вместе. Никто не вставал по утрам слишком рано. Ложились за полночь и ламп не гасили.

В тот день, когда великий писатель Александр Солженицын почувствовал, что нежно-зеленый, со своим тающим, высоким небом Вермонт только отвлекает его от настоящих дел, и, быстро сложившись, поехал в Россию, – в тот день, когда он, уже в куртке и небольшом шарфе по случаю недавней простуды, посмотрел в зеркало на свое скорбное лицо с опущенными уголками глаз и громко сказал: «Пора мне! Пора!» – как раз в этот день и родился теленок.

Он был светло-черным, со сливочным пятном на лбу. Почувствовав свободу и болезненную легкость в своем развороченном первыми родами нутре, корова неустанно, с отчаяньем острой любви и испуга, вылизывала его своим пылающим языком. Теленок был сыном, и плотью, и кровью.

А еще через пятнадцать лет после того дня, когда заспешил по неотложным своим русским народным делам Александр Солженицын, а на соседней с его вермонтским домом ферме родился теленок, и сердце коровы все сжалось от страха, красивый, почти бесшумный самолет, на котором Дмитрий Ушаков совершал перелет через Атлантику, был задержан в небе из-за того, что на Нью-Йорк надвинулся ураган «Теодор», младший брат только что отгремевшего урагана «Джозефа». Нью-Йорк не разрешал посадку, пассажиры компании «Air France» изображали, что ничуть не волнуются, и оживленно переговаривались, хотя сидевшая рядом с Ушаковым пожилая монахиня с очень полным и добрым ртом, которым она все время делала одно и то же движение, как будто жевала спрятанный лакомый кусочек, вдруг закрыла глаза и стала быстро-быстро перебирать свои гранатовые четки.

Вермонтский дом оказался молчаливо и равнодушно приветливым. В комнатах, заставленных старинной мебелью, стояла золотистая тишина, и все предметы спокойно и размеренно жили своею жизнью, не обращая на нового хозяина никакого внимания. Ступени, ведущие в сад, были слегка замшелыми, а сад – очень темным, большим и запущенным, но, когда Ушаков, войдя в этот дом и свалив свои вещи в гостиной, спустился по скользким ступеням в таинственно приглушенную темноту этого сада и полною грудью вдохнул в себя летний воздух, с ним произошло то же самое, что часто бывает в горах, когда прежде не замечаемый человеком процесс дыхания становится вдруг источником острого наслаждения. Поражаясь этому новому ощущению, он долго стоял над беспечным ручьем, к которому, судя по залысинам в траве, сходились напиться вермонтские звери, а вода акварельно отражала синеву неба, не теряя при этом ни одного, самого слабого облачка, – стоял и дышал, желая, чтобы та простодушная успокоенность, которая была разлита во всем, что окружало его, отныне украсила всю его жизнь.

\* \* \*

На первом году биомедицинского факультета Сорбонны девятнадцатилетний Митя Ушаков неожиданно сделал предложение дочери печально известного Габриеля Дюфи (по-русски – Григория Дежнева). С Машей Дюфи (в семье ее звали Манон) Митя был знаком еще по церкви Трех Святителей, которую мать всегда предпочитала собору на рю Дарю, где собиралось много новых и непроверенных русских людей. Первый раз Митя увидел Манон на Пасху. Ей было четырнадцать, Мите – пятнадцать.

Они с матерью долго и тщательно готовились к службе. Митя знал, что вечером, перед тем как отправиться в церковь, мать осторожно спрячет под его подушку первое пасхальное яичко, раскрашенное красным, как напоминание о крови Христовой, и завтра, вернувшись из церкви, он должен будет первым делом вынуть его из-под подушки и съесть, потому что мать верила, что пасхальное яйцо обладает чудесным свойством приносить ребенку здоровье и благополучие в течение целого года, и однажды рассказала, как такое яйцо, брошенное в только что загоревшееся здание, потушило пожар. В этот год она особенно долго возилась с творожной пасхой, которую всегда относила в церковь, и каждый год именно ее пасха становилась лучшей на праздничной трапезе у отца Владимира. Разложив на столе все, что нужно, мать радостно прочитала молитву, словно собиралась не просто протереть творог через мелкое сито и тонко нарезать цукаты, но с помощью этих цукатов, этого белого как снег творога соединиться с тем, что вот-вот должно случиться и озарить тусклую и неряшливую жизнь своим сиянием, спасти всех на свете – людей и животных, – и потому даже такое простое дело, как украшение пасхальной пирамиды взбитыми яичными белками, казалось ей вкладом в идущее

чудо. И Митя, наблюдая из своей комнаты, как мама с сизым румянцем на высоких скулах осторожно подливает в серебряную соусную ложку со сметаной только что вскипевшие сливки, тоже чувствовал, что нет ничего и не может быть в мире прекраснее этой торжественной ночи. А потом, когда творог был уже готов и выложен на плоское белое блюдо, по краю которого потускневшим золотом была выведена наклонная строчка «За веру, царя и Отечество», мама, как всегда, достала из высокого кухонного шкафчика – подтянулась на носках, показывая чуть потемневшие от пота подмышки, – маленькие синие пакетики с ванилью и цедрой, с мускатным цветом...

К тому времени, когда они на такси, боясь сломать новорожденное существо, слегка затвердевшее на весеннем холоде, просвечивающее сквозь марлю синеватым изюмом, добрались до церкви, внутри и снаружи стояла толпа и служба должна была вот-вот начаться. Крестясь на Иверскую Богоматерь, Митя не стыдился того, что слезы наворачиваются ему на глаза, а, напротив, жаждал только еще полнее, еще безогляднее отдаться тому ликованию, которое всегда наступало для него в такие минуты. Он обернулся, чтобы убедиться, что мама рядом и испытывает то же самое, как вдруг наткнулся на блестящие в полутьме, странно большие глаза. Девочка, стоящая слева от его матери, была тонкой и хрупкой – казалась почти ребенком, – и ее лицо, озаряемое быстро колеблющимся огнем свечи, поразило Митю своим страстным и требовательным выражением. Она и молилась не так, как другие, – не кротко, с надеждой и самозабвением, – а остро, настойчиво, и эти глаза ее, такие большие, что все остальное лицо пропало, затопленное ими, – эти глаза на секунду остановились на Мите, потом быстро сморгнули несколько раз, как будто бы Митя мешал им, и снова уставились вверх. Когда начался крестный ход и холодная весна с повисшими каплями недавнего дождя на едва опушившихся ветках поднялась во глубину черно-голубого неба с восторженным пением «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангелы поют на небеси, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славить», Митя опять увидел ее в медленно идущей толпе и вдруг так обрадовался, что даже не заметил, как, резко рванувшись налево от ветра, погас огонек, и какая-то статная женщина со спящим младенцем на одной руке приостановилась и ловко зажгла Митину свечку от своей.

Через четыре года, уже первокурсником Сорбонны, Митя, выпрыгнув из автобуса и торопясь на лекцию, почти налетел на Манон, которая в окружении незнакомых девушек стояла, прислонившись к кружевной железной ограде, и быстро, с судорожной жадностью, затягивалась сигаретой. Шла мода на хиппи, и все они были одеты подчеркнуто небрежно, с холщовыми сумками на плечах, с бисерными браслетами. Но и на этот раз она поразила Митю не меньше, чем тогда, в церкви. Она осталась такой же худой и невысокой, а может быть, стала даже еще худее, еще прозрачнее, но лицо ее с зелеными глазами, затемненными почти закрывавшей верхние веки ярко-черной челкой, было лицом взрослой женщины, знакомой со всем, о чем Митя не имел ни малейшего понятия. Он очень неловко кивнул ей, и опять – как тогда в церкви – блеснули на него эти яркие зрачки и заморгали пушистые ресницы, как будто торопясь высвободиться из Митино лица и опять оборотиться в успокаивающую их пустоту.

С этого дня вся его жизнь превратилась в одну очень странную, сладкую муку. Во сне он видел ее бледное, равнодушное к нему лицо, казавшееся еще бледнее, еще отдаленнее от сигаретного дыма, прищуренные зеленые глаза, ярко-черную челку, колено, оголившееся внутри многослойной, откинутой ветром цыганской юбки, и чувствовал, что больше терпеть невозможно, нужно раздобыть где-нибудь ее телефон, подкараулить ее, когда она будет возвращаться с лекции, схватить за плечо, за прозрачную руку...

Через пару недель прихожане Сергиева подворья были шокированы неприятной новостью: Габриель Дюфи (он же Григорий Андреевич Дежнев), главный редактор престижной газеты «Le Monde», опубликовал свой интимный дневник, после чего ему пришлось оставить редакторский пост и начать процесс развода. Мать Мити вернулась из церкви сама не своя.

– Ты только подумай! – возбужденно заговорила она, сдергивая с кудрявых волос свой берет и бросая на подзеркальник старую лакированную сумку. – И он еще считает себя православным верующим человеком! Опубликовал этот жуткий дневник, где не только во всех подробностях описал, как он любит faire une partie des jambes en l'air,<sup>9</sup> не только сообщил, какие тяжелые лиловые груди были у его любовницы-негритянки – тьфу, господи! – но он еще пишет, какая прелесть эти маленькие худенькие девочки, а пуще того – худенькие мальчишки! А ведь у самого дочка! В конце дописался до того, что церковь – сугубо для грешников! И вера для грешников! А праведным и без Христа хорошо, они и так праведные!

– Ну, это не он придумал, – возразил Митя, – это у Достоевского есть.

– У Достоевского? – холодно переспросила мать, словно ей было неприятно примешивать литературу к таким важным вещам. – Уж если на то пошло, так это в Писании есть. Христос говорит: «Пойдите научитесь», что значит «Милости хочу, а не жертвы», ибо «Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию». Не помнишь разве? «Милости хочу!» Но это совсем другое. А что там у Достоевского? Как это там у него?

– Сейчас я прочту, – сказал Митя, опустив глаза и быстро уткнувшись в книгу. – «И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите, пьяненькие, выходите, слабенькие, выходите, соромники!» И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! почто сих приемлеш?» И скажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего...» И прострет к нам руке свои, и мы припадем... и заплачем... и все пойдем! Тогда всё пойдем!...»

Утром он подкараулил Манон в студенческом кафе. Опять она курила, рассеянно прихлебывая кофе, обгрызая кусочек сахара – на этот раз одна, без подруг, – смотрела в одну точку из-под полуопущенных продолговатых век своими блестящими мокрыми глазами, которые, казалось, готовы были в любую минуту пролиться, как две огромные слезы. Когда Митя, осторожно кашлянув, опустился на соседний стул, она напряженно выгнула шею, как женщины на картинах старых религиозных мастеров, и застыла в этой позе, не спуская с него взгляда, как будто притянутая к его лицу упрямой физической силой.

Чувствуя, как все сильнее и сильнее, до ослепительной боли, взрывается под ложечкой, Митя предложил ей еще кофе.

– А я тебя помню, – сказала она по-русски. – Ну, что ты хотел мне сказать?

– Сказать? – густо покраснел он. – Нет, я ничего не хотел.

– Вы все это там обсуждаете, в церкви, – усмехнулась она, – я знаю. Как будто вы все помешались: «Ça c'est la meilleure! C'est la cata! Quel enfoire!».<sup>10</sup> Какое вам дело?

– Ты что, про отца?

– Да, я про отца, – с вызовом сказала она. – У меня отец развратник и педофил. Его, безусловно, посадят в тюрьму. А вам очень жалко меня, хотя я совсем ни при чем!

– Не надо об этом, – мучаясь за нее, пробормотал Митя. – Пойдем куда-нибудь отсюда. Пойдем в «Etoile»?

И она вдруг покорно встала, погасила сигарету, вскинула на левое плечо свою растрепанную, бисером и стекляшками вышитую сумку.

– А хочешь ко мне? – вдруг хрипло, подавившись проглоченной последней затяжкой, спросила она.

От университета до улицы Пасси, где была квартира Манон, они шли быстро, почти не разговаривая и не глядя друг на друга. В соседнем доме был гастроном, и, пока Манон в поис-

<sup>9</sup> Проводить время в постели с кем-то (франц.).

<sup>10</sup> Какая новость! Катастрофа! Вот сволочь! (франц.)

ках завалившегося ключа вытряхивала из сумки все ее содержимое прямо на тротуар, на сырые его плиты, Митя бессознательно смотрел на витрину, за стеклом которой тускло золотились жареные пирожки и обезглавленная утка была так щедро уложена запеченными яблоками, как будто она заплывла в очень темную тину.

Наконец Манон нашла ключи, они вошли в тесный лифт, который плавно доплыл вместе с ними до шестого этажа, лампочка осветила прихожую, раскрыли двери в столовую – Митя чувствовал только бешеный стук сердца и кровь, тяжелыми быстрыми волнами приливающую к голове, – потом оказались в совсем уже темной спальне, где мягко серела неубранная постель, на которую как кошка прыгнула Манон и резко швырнула в угол свою расшитую сумку.

– Их нет! – хрипло сказала она. Митя догадался, что речь идет о родителях. – Папа съехал к любовнику, а мама в Италии.

Тогда он опустился на пол, на вытертый, темно-лиловый с желтыми лилиями ковер, обхватил обеими руками ее ноги в выгоревших джинсах и очень уродливых черных башмаках на деревянных подошвах, прижался лицом к этим башмакам, к этим вздрагивающим и таким хрупким, таким горячим и твердым коленям.

– Я тебе помогу, – шепнула она, – ложись, раздевайся быстрее.

Он догадался, что она закрыла свои ослепительные глаза, потому что в комнате стало еще темнее, и тоже зажмурился, ошупью, боясь и не зная, что делать с этим адом, которым все сильнее и сильнее наливался низ его тела, лег рядом с ней, вцепившись обеими дрожащими руками в ее откинутую голову, глотая ее неровное, прокуренное и одновременно такое детское дыхание, и вдруг почувствовал, что кричит, теряет сознание, а она обеими руками зажимает его рот:

– Tout baigne! Tout baigne!<sup>11</sup>

Он лежал навзничь, продолжая громко стонать и вздрагивать всем телом, а она стояла над ним на слегка раздвинутых коленях, обеими худыми, слабо белеющими в темноте руками держа его голову и всматриваясь в него своими огромными зрачками.

– У тебя не было женщины, – медленно и слегка удивленно сказала она. – Да. Я так и думала. Тогда подожди.

И соскочила на пол, быстро и громко протопала куда-то босыми ногами, потом зашумела вода, что-то упало, зазвонил телефон. Митя перевел глаза на окно, где тихо шумели разнообразно темные от падающего на них неровного освещения молодые листья с яркой ночной синевой между ними. Манон вернулась в летнем пальто, наброшенном на голое тело, босиком, с мокрыми распущенными волосами, подошла к постели и осторожно присела на краешек.

– Почему у тебя никого не было? – спросила она. – Ты что, ненормальный?

Он промолчал.

– Да, ты ненормальный, – повторила она с радостью. – Но мне такие нравятся. Я ведь сама ненормальная.

Манон неожиданно всхлипнула и, бросив пальто на пол, легла рядом с ним и прижалась к нему.

– Ты знаешь, не хочется жить, – пробормотала она. – Мне кажется, что я уже когда-то жила, и, может быть, даже не один раз, а больше, и все давно знаю, и нечего мне здесь делать, не хотела я сюда возвращаться, а меня обманули, опять затащили, и сил нет все это терпеть... J'ai la trouille...<sup>12</sup>

От ее мокрых волос резко пахло цитрусовым шампунем, а лоб, вжавшийся в Митину шею, был горячим и прожигал, как горчичник. Потом он почувствовал мокрые ресницы на

---

<sup>11</sup> Все отлично! (франц.)

<sup>12</sup> Я боюсь (франц.).

своей щеке, быстрое прикосновение которых напомнило прикосновение бабочки, и страх его прошел.

– Я хочу, чтобы ты стала моей женой, – сказал он.

Она приподнялась на локте.

– Tu te fous de moi?<sup>13</sup>

И стала отодвигаться на край постели, отталкивать его обеими руками, как будто он оскорбил ее.

– Манон! – забормотал он, пытаясь поймать и остановить ее пальцы, царапающие его своими длинными ногтями. – Я люблю тебя! Манон!

– Ты хочешь жениться? – хрипло спросила она. – На мне? Вот так, сразу?

– Да, сразу. Венчаться. И все, что захочешь.

В день их венчания шел теплый, душистый дождь. В городе уже сияла весна, парки наполнялись цветущей зеленью, в пригородах млечным снегом кудрявились яблони, и небо с каждым днем становилось все ярче и все загадочнее в своей далекой радости, как будто бы там, в этом небе, шел праздник особенный, людям невнятный.

Отец ее так и не появился, и ходили неприятные слухи, что он вернулся или вот-вот собирается вернуться в Россию. Мать Манон, очень худая и высокая, с выпирающими из-под платья ключицами и нарядной головой, похожей на голову птицы – в пышно взбитые и стянутые на затылок волосы были вставлены изогнутые черные и белые гребни, – притворялась взволнованной и любящей, гладила Митю по плечу и просила заботиться о Манон, но Митя отлично чувствовал, что все это ложь, до дочери ей нет никакого дела, и рада она тому, что, как только закончится венчание, можно будет сесть на поезд и улизнуть обратно в Италию.

Кажется, этот день, когда до самых сумерек, не переставая, струилась вода в синеве и белизне весны, был последним беззаботным днем в Митиной жизни. В церкви на рю Дарю собралось не больше двадцати человек, и Мите, держащему холодную равнодушную руку Манон, на секунду показалось, что все это – молодой рыжеволосый священник, который смущенно отводил глаза всякий раз, когда ему смотрели прямо в лицо, горящие свечи, голос массивного дьякона, но больше всего сама Манон с опущенными ресницами, в странном подвенечном платье, похожем на театральный костюм с несколькими рядами атласных пуговиц на спине, со множеством рюшек на высоком стоячем воротнике, украшенном эмалевым четырехлистником, такая Манон, которой он никогда прежде не видел, – все это могло быть только сном. Их первая близость, запах ее волос, фиолетовое небо за окном, слезы, обильно залившие Митину шею, в которую Манон со всей силой уткнулась тогда своим пылающим лбом, наполнили его диким восторгом, но все, что происходило потом, все три недели до венчания, оказалось трудным, болезненным и, главное, непонятным временем, которое полностью выбило его из колеи.

Оставив тогда спящую Манон в квартире на рю де Пасси, Митя примчался домой, где мать, и без того перепуганная недавними студенческими событиями, не спала в ожидании его, и, выпалив прямо с порога: «Ура! Я женюсь!», увидев испуганно вспыхнувшее материнское лицо, начал, захлебываясь, рассказывать о том, как он невозможно, немислимо счастлив.

– Зачем вам жениться? – голосом, звякнувшим, как чайная ложечка, и слишком тонким, спросила мать. – Ведь ты же ее и не знаешь.

– Но, мама, как ты можешь говорить такое? Как ты можешь, когда я вот смотрю на нее и думаю, что с ней я хочу в жизни – всего! Любых испытаний, несчастий, и с ней мне не страшно!

---

<sup>13</sup> Издеваешься? (франц.)

– Да, нам бесполезно сейчас разговаривать, – прошептала мать, поднявшись с дивана и закрыв одной ладонью половину лица, как будто у нее вдруг сильно разболелся зуб. – Дай бог, чтобы ты не ошибся.

Он с трудом дождался утра, не заснул ни на секунду, ворочался на своем диване, сто раз вскакивал и подходил к окну – к шести начало сереть, мягко обрисовалась роспись на стекле: куст роз и раскрывшийся веер – и больно колотилось сердце, звенело в ушах, казалось, что в нем не один человек, а много людей сразу, которые и бегут по улице, и громко смеются, и плачут, и просто стоят у окна, расписанного этими розами.

Утром он искал Манон по всему университету, потом отправился к ней домой. Ему не открыли, за дверью была тишина. С этой тишины, особенно внезапной в разгаре его радостного нетерпения, началась Митина мука. На город наплывал вечер, весенний и зябкий немного – дождь то начинал сыпать, то вдруг прекращался, – и радостно, по-весеннему пахло все вокруг: вода в реке с разостлавшимися в ней отражениями, похожими на выцветший гобелен своими тускло-зелеными и розовыми красками, медленно темнеющие от сумерек первые цветы на газоне, длинные, укутанные в бумагу теплые батоны, которые на руках у прохожих, как новорожденные младенцы, выплывали из булочных. Он позвонил в квартиру еще раз, предполагая услышать звук той же самой тишины, которую он уже очеловечил за время своего ожидания, но вместо этого услышал вдруг голос Манон, жеманный, негромкий, лукаво-приветливый:

– Сейчас! Открываю!

Она распахнула дверь, и он увидел перед собой не ту девушку, которая вчера лежала с ним голая на смятой кровати, до крови закусив губу, и хрипло кричала: «*Tu es raiment fort!*»,<sup>14</sup> а девочку-ребенка в коротеньком голубоватом платице с оборками, с прозрачным ненакрашенным лицом, смущенно порозовевшим при его появлении над маленьким медальоном, который на своей бархатной ленточке глубоко опускался в нежную впадину между ее невинными, почти что ребячьими грудками. Черные волосы Манон стали золотистыми, но не это делало ее неузнаваемой, а выражение больших влажных глаз, которые теперь смотрели на него кротко, сонно и старательно, словно ожидая похвалы за свою кротость.

У Мити отнялся язык, а Манон, сияя смущенной улыбкой, ввела его в квартиру, и он заметил, что волосы у нее все еще мокрые, и золотая краска не прокрасила их до конца, так что на затылке чернеют три тонкие, явно забытые пряди. Он хотел было обнять ее, но с той же смущенной улыбкой она отступила в сторону – от растерянности он неловко засмеялся, – а на детском лице Манон сверкнул настоящий страх, как если бы Митя вдруг сделал что-то нехорошее.

И он ничего ведь не понял! Ни тогда, когда просидел целый вечер за чайным столом, не посмеяв дотронуться до нее, дивясь на поразительную перемену и разговаривая о самых ничтожных предметах, как будто все это происходит в другом веке и он, Митя, играет роль какого-то долженствующего быть невероятно галантным старинного кавалера, ни на следующий день, когда Манон, с порога затащив его в постель, опять каталась по смятой простыне – теперь ярко-рыжая, дикая, липкая от пота, раздирала его спину своими острыми ногтями, смеясь, задыхаясь, и хрипло кричала:

– *C'est cool!*<sup>15</sup>

В тот же вечер она и потребовала, чтобы венчаться непременно тринадцатого, и не нужно никакой свадьбы, даже самой скромной. Скорее венчаться и жить. Пока что в квартире на рю де Пасси, а там будет видно.

И жизнь наступила большая, нелепая. Митя подчинился, потому что другого выхода не было. Если ты заперт в одной клетке со зверем, то лучше рычать так, как он, и пить из той

---

<sup>14</sup> Ну, ты силен! (*франц.*)

<sup>15</sup> Здорово! (*франц.*)

же железной посуды, из которой пьет он, и с жадностью грызть те же самые кости. Поначалу он еще пытался понять, что же все-таки происходит, еще искал логику в ее бесконечных перевоплощениях, переодеваниях, изменениях голоса, цвета волос, манеры поведения. Ему и в голову не приходило, что она больна, и он объяснял странности Манон объективными причинами: скандальной историей с отцом, его исчезновением, холодным и неудобным детством, отворотительным равнодушием матери.

Став его женой, Манон сразу же бросила университет и сообщила, что теперь она займется их маленьким гнездышком, где в скором времени должны будут появиться птенцы. Митя возвращался после занятий и заставлял всегда одну и ту же картину: Манон лежала на кровати с сигаретой – то в черном разодранном балахоне, то в старом – том самом голубоватом, с оборками – платье, то в своем подвенечном наряде с эмалевым четырехлистником на воротнике, то еще в чем-то немыслимом, экстравагантном – в зависимости от того, в кого она преображалась в этот день, – и молча смотрела в потолок равнодушными глазами, на дне которых, подобно водорослям в холодной воде, плавали чужие замерзшие мысли. Ее безразличие к нему было настолько сильным, что иногда, войдя к себе домой после солнечного тепла улицы, Митя физически ощущал порыв холодного ветра, который, оторвавшись от ее лица, с порога набрасывался на вошедшего.

Всего пару раз – с тринадцатого мая и до того дня, когда все это закончилось, а именно до двадцать первого сентября – Манон ненадолго приходила в себя. Тогда она встречала его при выходе из метро, красиво, небрежно и ярко одетая, со своей неизменной шаловливой сигаретой, которую то зажимала между мизинцем и большим пальцем, то забывала в углу рта, то сделав несколько затяжек, гасила и закладывала за ухо, как продавцы в мебельных магазинах иногда закладывают за ухо свои остро наточенные карандаши. Она поджидала его у метро, целовала в губы вкусными, детскими, оттопыренными губами, брала под руку, расспрашивала о том, как прошел день, тащила в кафе, в парк, к подругам... И ночью бывала тогда – в эти редкие просветы – особенно нежна, особенно откровенна и доводила Митю до изнеможения, до полного восторга... Но когда наутро, блаженно усталый и все-таки бодрый, с гудящим, как дерево, заспанным телом, до краев переполненный ею, ее сияющими глазами, спутанными волосами, смехом, стоном, – он открывал глаза, прислушиваясь к пышному птичьему щебету, надеясь увидеть Манон такой же, какой она была с ним недавно – всего только час, два назад, – но видел ее равнодушное, мертвое, заледеневшее в своем безразличии лицо, та страшная правда, от которой ночь далеко уводила его, возвращалась обратно, и он с унижением и ужасом чувствовал, как жизнь рассыпается прямо в руках, подобно безнадежно испорченному изделию, которое не сможет восстановить ни один умелец.

Двадцатого сентября, в день рождения его матери, когда они сидели за столом, над кремовой скатертью висела большая прозрачная лампа, и мать, взволнованно вцепившись в Манон узкими татарскими глазами, начала что-то рассказывать, Манон вдруг хрипло перебила ее:

– А я только что прочитала книжонку... отец ее очень любил, всегда оставлял то в сортире, то в кухне... Да вы ее знаете!

– Какую? – спросила мать.

– Какую? Да как ее, господи! «Кроткую»! Вы ведь читали?

– Конечно, читала, – сухо и удивленно отозвалась мать.

– Такое вранье! – расхохоталась Манон. – *C'est une histoire à dormir debout!*<sup>16</sup>

– Что именно «histoire»?<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Бред сивой кобылы! (франц.)

<sup>17</sup> Бред (франц.).

– Как что? Вот вы посмотрите: ему сколько лет, ее мужу? Не меньше чем сорок, ведь правда? А ей? *Fillette!*<sup>18</sup> Все началось с того, что он захотел с ней спать. С самого первого разу, когда она пришла к нему с какой-то дрянью, чтобы получить у него денег, он хотел только одного: с ней спать. Ей даже шестнадцати не было. Но он не мог просто так взять и начать с ней спать. Во-первых, потому что он был отвратительным уродом и ни одной женщине не хотелось с ним спать – это ясно, – и еще потому, что она все-таки жила в приличной семье, и там, в России, это было не принято. Поэтому он женился. И прямо написано, я запомнила: «Привел ее в свой дом». А тут уже все было можно. Совсем уже все. Вы согласны?

– *Qu'est-ce que tu racontes!*<sup>19</sup> – вспыхнула мать. – И вещь-то совсем не об этом!

– Как так: не об этом? О чем же?

Митя чувствовал, что сгорает от стыда, и больше всего ему хотелось бы провалиться сквозь землю, выбежать из этой комнаты, но он не мог этого сделать, потому что мать и жена говорили не только друг с другом, но явно обращаясь и к нему тоже, а главное, мешали красные цветы на обоях, которые парализовывали его волю своею нелепою яркостью, как будто он только сейчас их заметил.

– Он был таким же, как мой отец! – сквозь черные волны крови, которые били в голову, слышал он. – А все остальное – *histoire!* Потом он перестал с ней спать и купил ширмы. Знаете вы, почему?

– Какие ширмы? – пробормотала мать.

– Откуда я знаю какие? Лиловые в белый горошек! Он купил ширмы, потому что она отказалась с ним делать все эти гадости, которые он заставлял! Со стариком! С вонючим и мерзким!

Митя видел лицо матери, недовольное, разгневанное и одновременно беспомощное, чувствовалось, как она подыскивает слова, чтобы осадить Манон, но слов не находится, и мать только тяжело дышит, в то время как Манон, словно вращающийся диск будильника, который уже невозможно остановить, продолжает говорить, поминутно переходя с русского на французский:

– Он там признается: «Я муж, и мне нужно любви!»! Ему нужен секс, и самый что ни на есть *bas de gamme...*<sup>20</sup> А она знает, что если он увезет ее за границу, то, значит, она согласилась на такой секс, и не *un chouïa*,<sup>21</sup> а по-настоящему, на всю свою жизнь!

Руки матери задрожали, и она быстро убрала их под стол.

– *Non, mais tu te prends pour qui?*<sup>22</sup>

– Что я позволяю? – нахмурилась было Манон, но тут же звонко рассмеялась. – Я просто делюсь тем, что знаю. *J'en ai à tire-larigot!*<sup>23</sup> А когда девушка выпрыгивает из окна с иконой в руках, она в лепешку разбивается! *C'est gros comme un camion!*<sup>24</sup> А у вашего любимого Достоевского она лежит «тоненькая»! Там так и написано: «тоненькая, ресницы стрелками»! И ничего не повредила, ничего не сломала, еще и иконку в руках держит!

– Ну, это не обязательно, чтобы как в жизни... Ну, в жизни ведь все по-другому... – пробормотала мать теперь уже даже с испугом.

– Да, в жизни ведь все по-другому! – резко подхватила Манон и вдруг по-кошачьи потянулась, прищурилась ласково, кротко, пушисто. – В ней все и всегда по-другому...

---

<sup>18</sup> Девочка (*франц.*).

<sup>19</sup> Что ты несешь! (*франц.*)

<sup>20</sup> Низкопробный (*франц.*).

<sup>21</sup> Чуть-чуть (*франц.*).

<sup>22</sup> Что ты себе позволяешь? (*франц.*)

<sup>23</sup> У меня этого добра сколько угодно! (*франц.*)

<sup>24</sup> Это очевидно! (*франц.*)

Что он заметил, возвращаясь пешком на рю де Пасси с материнского дня рождения? Заметил ее красно-розовый румянец, ее сердито блестящие глаза, необыкновенную, озорную разговорчивость, с которой она то крепко прижимала к своему бедру его руку, то отталкивала ее, а то просто забывала об этой руке, хотя и продолжала держать ее в своей маленькой горячей ладони. О чем она говорила тогда, он не запомнил. Да и что толку было запоминать, мучиться? Он уже достаточно знал Манон, чтобы понять, что разговаривать с ней в такие моменты было так же бесполезно, как разговаривать с рыбой, которая услышит в обращенной к ней речи всего только шум светло-серой воды.

Вечером на следующий день, поднявшись из метро на улицу, Митя издали увидел толпу. Его затошнило, руки стали мокрыми, а ноги словно бы повисли в пустоте. Он медленно, как загипнотизированный, приближался к дому, хотя ему казалось, что он идет быстро, что он торопится, как будто от того что он успеет или не успеет преодолеть это расстояние за несколько рекордных секунд, зависит все то, что сейчас он увидит.

Протиснувшись сквозь толпу, он увидел бугорок, накрытый синей клеенкой. Бугорок был скорченным и странно коротким.

«Это не она!» – облегченно содрогнулся он и тут же услышал, как кто-то сказал:

– Сейчас заберут, уже вызвали. Разрешили только прикрыть, трогать нельзя. Голова раскололась, сама отлетела.

Так вот отчего бугорок был коротким! Через несколько минут три машины – полиция, пожарная и «Скорая помощь», – заливая огнями улицу и раздирая ее своими сиренами, примчались одна за другой. Полицейский с красным лицом брейгелевского крестьянина, лицом от природы жизнерадостным, а сейчас перепуганным, мрачным, серым, вылез из своей еще пламенеющей огнями машины, наклонился над клеенкой и приподнял ее. Митя увидел месиво из чего-то бурого и красного, в обломках костей, похожее на то отвратительное, что виделось в детстве во снах, когда он болел, задыхался от жара и запахи кухни вдруг начинали преследовать его вместе с картинами приготавливаемого обеда, в центре которого неизменно появлялось рагу из красного мяса с застрявшими обломками костей.

На следующий день из полиции сообщили подробности: Манон выбросилась из окна ровно в пять часов вечера. На ней была белая ночная рубашка – совершенно новая, еще с ценной. В руках у Манон была икона, копия со знаменитой Владимирской Богоматери, которая при соприкосновении с землей разлетелась на мелкие куски.

## *Дневник* **Елизаветы Александровны Ушаковой**

**Париж, 1955 г.**

Вчера вечером зашла в кондитерскую, выпила чашку шоколаду, потом долго сидела одна в скверике. Погода уже почти весенняя, скоро все распустится. Думала о своем муже. Бог соединил меня с самым правдивым на свете человеком, которому я всю жизнь бессовестно лгу. Что бы там ни говорили, как бы ни называли любовь родством душ и ни уповали на то, что браки совершаются на небесах, но я, столько лет промучившаяся в смертном грехе неверности, могу сказать только одно: любовь – это не родство душ, это телесное блаженство, то самое, которое знали Адам и Ева, пока Господь не изгнал их из рая. Разве это мой был выбор: предавать Георгия и понимать, что предаю, и все же продолжать грешить? Да, это был мой выбор, потому что, однажды испытав блаженство с другим человеком, не с мужем, я уже не смогла отказаться от него. За что и плачу вечным страхом, что Господь накажет за меня моих детей, как это обещано в Писании.

Помню нашу с Н. первую ночь в гостинице, когда я сказала Георгию, что нужно поехать в Галлиполи и помочь маме, которая сломала руку, и Георгий поверил – он слишком далек был от того, чтобы заподозрить меня в таком неслыханном обмане. Остался с двухлетним Ленечкой, а мы с Н. сели в поезд, в разные вагоны, и через пару минут я испугалась того, что делаю, решила соскочить на ходу, бежать обратно домой, но в дверях уже стоял кондуктор со старым и темным лицом, цветом напоминающим пашни, мимо которых несея наш поезд, и я, как овца, вернулась на свое место. Все помню, все до последней мелочи! Мы остановились в маленьком кукольном домике, где на первом этаже была одна большая комната вместе с очень старой кухней, а на втором – спальня с широкой, но страшно короткой, как будто для гигантского младенца приготовленной кроватью под балдахином. Хозяева были русскими, из деникинцев, два брата с женами, кукольный домик вместе с фермой достался им случайно, они переделали его в гостиницу, а сами жили в пристройке. Когда мы с Н. пешком пришли со станции, они собирались в церковь. Из осторожности мы не стали говорить, что и сами тоже русские, заплатили за две ночи и, сопровождаемые настороженными взглядами обеих жен и одного из хозяев – все были рослыми, черноглазыми, высокими, – начали подниматься наверх, в спальню, по птичьей лесенке, только что выкрашенной в белую краску и еще немного липнущей к подметкам. К дому подкатил грузовик с открытым кузовом, который со всей округи собирал русских для поездки в церковь. Наши хозяева в праздничных пиджаках, с мокрыми припомаженными волосами вышли вместе со своими женами, тоже нарядными, в белых шелковых платках и скрипучих ботинках, за руку поздоровались с шофером, выпрыгнувшим покурить, и помогли своим женам залезть в открытый кузов, где было уже полным-полно такого же праздничного, нарядного народу и, возвышаясь надо всеми своей сливочно-желтой, выгоревшей головой, сидел, упрямо наклонив красную широкую шею к раскрытому баяну, огромный плечистый казак в белой рубахе, легонько перебирал пуговицы своего инструмента, а как только грузовик сорвался с места, он тут же пронзительно-жарко запел: «Помню, я еще молодуще-о-ой бы-ла-а!»

А какое было солнце в тот день – кажется, никогда, за всю жизнь я так сильно не чувствовала этот всю меня насквозь, до последней кровинки пронизывающий свет. В нашей высокой «скворечне» не было занавесок, и свет свободно лился на кровать, на пестрые ситцевые простыни, на нашу одежду, кое-как сброшенную на пол. Еще я запомнила птиц. Они запели на рассвете, разбудили меня своими свежими, удивленными голосами, и так стыдно мне стало

от того счастья, которое я чувствовала во всем своем теле, так стыдно, будто я украла его, как курицу на рынке!

### **Вермонт, наше время**

Ушаков ничего не взял с собой из Парижа. Материнская квартира осталась стоять закрытой на два поворота ключа. Он опустил жалюзи, расставил диванные подушки так, как это было при матери: две темно-зеленые, бархатные, по бокам, и белая, шелковая, посередине.

Наследство, состоящее из дома в Вермонте, принадлежащей этому дому земли и ценной коллекции живописи, обрушилось на него внезапно – мать никогда не говорила о своем отце. Теперь только выяснилось, что этот отец, бросивший ее ребенком и сбежавший в Америку, не завел себе другой семьи, хотя ни разу не поинтересовался, как там, во Франции, живет его дочка, которая выросла, вышла замуж, родила Митю, похоронила мужа, потом отца мужа, потом, через две недели, мать мужа, осталась одна с ребенком, ходила в русскую церковь, работала хирургической медсестрой и, несмотря на свою длиннобровую черноволосую красоту, ни с кем не жила, не спала, не гуляла, а только служила своему мальчику, воспитывала его, сама занималась с ним математикой, читала ему жития святых, отправляла на лето в православный разведческий лагерь для детей эмиграции, а потом, когда он вырос и закончил школу, настояла на том, чтобы мальчик поступил именно в Сорбонну, на отделение философской антропологии.

Она заболела раком легких, когда Мите исполнилось сорок четыре года, и болела долго, мучительно, мужественно, с каким-то даже хладнокровием, словно наблюдая сама за собой и просчитывая, на сколько лет, месяцев, дней осталось ей сил и желания жизни. За полтора года до смерти мать получила письмо от человека, чьи стертые временем карточки лежали в семейном альбоме. В письме этот человек не обращался к ней по имени, а называл ее «вишенкой», как когда-то называли ее в детстве. Но, кроме того что он называл «вишенкой» старую, истощенную болезнью женщину, которая каждый раз, перед тем как подняться с постели, долго нашаривала босыми и словно бы вылепленными из алебаstra узкими ступнями серые пушистые тапочки, а потом медленно, шаркая ими, брела в уборную, придерживаясь за стену своей очень узкой, дрожащей и тоже словно бы алебастровой рукой, – кроме того что он обращался к ней «вишенка», этот человек еще сообщал, что никогда не терял ее из виду и теперь, находясь в здравом рассудке и твердой памяти, завещает своему единственному внуку Дмитрию Ушакову коллекцию живописи, оцененную в полтора миллиона долларов, а также дом в штате Вермонт с изрядным количеством земли общей стоимостью восемьсот восемьдесят четыре тысячи.

Митя запомнил каждую минуту того вечера, когда мать, дочитавшая наконец это письмо, в котором первое слово «вишенка» было написано от руки, а дальше все набрано на компьютере, закрыла глаза и долго лежала неподвижно, облизывая пересохшие губы, откинувшись на подушку своей растрепанной, полысевшей от лекарств головой, а потом солнце вдруг хлынуло на ее измученное лицо, оно заколыхалось, задвигалось, помолодело, и устыдившийся собственной силы восторг заставил ее изо всей силы взмахнуть руками, словно только так и можно было выразить все, что она почувствовала.

\* \* \*

У подножия горы, на которой осенью так краснеют пышные деревья, что издали она кажется усыпанной розами, стояла просторная русская школа. Вечерами с горы опускался туман, стыдливо закутывал русскую школу, и она принимала облик корабля, убеленного морской солью, с давно затонувшей и канувшей мачтой. Туман прятал тайны, и тайн было множество.

До появления школы Вермонт себе спал и печали не ведал. Текли его реки, леса зеленели. Знаменитый писатель Солженицын вел себя до странности тихо, сидел за столом, покусывая типичную для настоящего русского писателя бороду, и жадно готовил последнее слово. К себе не пускал и к другим не стремился.

Но школу открыли. Как сердце, которое бьется, даже если его отделяют от тела, так все хорошоды, венки из ромашек, душистых и белых, из желтых купавок, из синей гвоздики, из клевера, красного, сладкого, с медом, венки на девичьих склоненных головках, к тому же ночные купанья и пляски, к тому же романсы, к романсам – гитары, к тому же гаданья, к гаданьям – страданья, к страданиям – слезы, к слезам... Ах, да что говорить! Народное русское сердце, на которое многие очень писатели – не только один Солженицын, не только – возлагали такие надежды, русское сердце, расставшееся со своей подмосковной, калужской, рязанской, владимирской плотью, забилося с нездешнею силой в Вермонте. Да как вдруг забилося! Если наезжал чужой человек, то он видел вот что: рязанско-калужские крепкие люди в простых сарафанах, в очках и панамках учат чужих детей своему великому языку. Ночами купаются голыми в реках. По праздникам все отправляются в церковь, в столовых всегда недовольны обедом, друг друга целуют помногу, потеют.

Дав клятву не произнести за время своего пребывания в школе ни одного английского слова, студенты все лето давились молчанием. Оно нарывало в их горлах. Сталкиваясь свежим утром на усыпанной росой тропинке, ведущей в столовую, заспанные, со спутанными волосами, страдальцы открывали девственные уста свои накрепко заученным диалогом знакомства из первой учебной главы «Вы в России»:

- Ты здравстуй!
- И ти!
- Как ти?
- Ошень! А ти?
- Тожа ошень!
- Ти рад?
- Так! Шастливо!
- И ти. Будь здоровым!

Когда в небольшом поселке Белая Речка, где Ушаков должен был пересесть с нью-йоркского автобуса на местный, ему сказали, что здесь, совсем неподалеку от его нового дома, находится русская школа, он вспомнил, что слышал об этой школе еще в Париже, так как именно в ней-то и проводила лето семья нового православного священника из церкви на рю Дарю, который занял место недавно умершего отца Кирилла.

\* \* \*

Покачиваясь в вылинявшем полосатом гамаке между двумя вермонтскими яблонями, с которых уже сошел их бело-розовый цвет, так что теперь вся трава под ногами была щедро усыпана лепестками, Ушаков восстанавливал перед глазами те куски прошлого, которые особенно мучили его, пытаясь сейчас, в этом безмятежном краю, освободиться ото всего, ощутить, что прошлое уже не имеет над ним власти, но оно не уходило, не тускнело: ни бугорок, накрытый темно-синей клеенкой, ни слабая рука матери, которой она перекрестила его перед смертью, ни лицо Медальникова, жалкое и доброе лицо, на котором судорогой бессильного стыда, как в зеркале, отразилось Митино предательство.

Были и другие поступки, были слова, были мысли, за которые всегда становилось стыдно и возвращаясь к которым Ушаков чувствовал себя, как чувствует человек, который только что спокойно шел по улице, и вдруг нога его провалилась в глубокую яму, дыру на асфальте, и он настолько потерял равновесие, что чуть не упал, не разбил себе голову. Иногда казалось, что

он тащит на себе собственную память, как тащат людей из тяжелых сражений: от ран их идет густой и отталкивающий запах свежей крови, но сбросить нельзя, а сбежать просто некуда.

\* \* \*

Племянник профессора Медальникова, Сергея Ивановича, умершего в 1947 году в Тулоне в клинике для душевнобольных, Антон Медальников, возглавивший в пятидесятые годы фармакологическую лабораторию имени своего знаменитого дяди в Институте Пастера, пророчил Мите Ушакову большую известность в области философской антропологии. После смерти Митинога отца, с которым Антон Медальников вместе работал, он избегал встреч с его семьей по причинам, которые стали известны Мите только впоследствии, и всякий раз, сталкиваясь с Митиной матерью в церкви, торопливо раскланивался и отводил глаза. Ни фармакологией, ни биологией он уже не занимался и перешел в лабораторию по изучению обезьян.

В мае шестьдесят девятого года, через пару месяцев после гибели Манон, стоя на одном из воскресных богослужений, Митя увидел Медальникова рядом и вдруг обрадовался этому.

В те месяцы он жил, как животное, на которое пал выбор, и оно знает, что обречено. Он продолжал ходить в университет, но переехал обратно к матери (квартира на рю де Пасси стояла закрытой), читал хаотично, жаднее, чем прежде, и временами начинал вести себя так, словно живая Манон, не спуская глаз, следила за ним с поднебесья. Ему постоянно хотелось снова увидеть ее, будто эта смерть была чьей-то издевкой или, может быть, розыгрышем самой Манон, а темный клеенчатый бугорок – не что иное, как одно из ее бесконечных переодеваний, ее неожиданных масок, в то время как сама Манон продолжает где-то существовать и по-прежнему валяется на диване с потухшей сигаретой. Он знал, что то, что происходит с ним, граничит, наверное, с безумием, и, мысленно возвращаясь к Манон, не отпуская ее, не позволяя ей умереть до конца, он только усиливает свои муки, но он также знал, что только благодаря этим мукам он, как гвоздями, вколачивает в себя ту Манон, которой ему не хватало для жизни. Временами он физически ощущал, как теперь уже внутри его самого, его тела, вспыхивают ее блестящие глаза, как они начинают переливаться и вздрагивать, и, вжавшаяся в диван, издали похожая на большую куклу, она вдруг приподнимается на локте, далеко отведя хрупкую руку с сигаретой, – худая, прелестная, измученная чем-то, чего она так и не открыла ему, – и радостно шепчет:

– T'as pigé?<sup>25</sup>

А потом опять эти провалы в пустоту, в черноту – несмотря на голубоватый, распаренный весенний дождь, на запах цветов, на дыхание неба, – он вспоминал, что ее нет, и все проваливалось туда, откуда несло обжигающим холодом, а сама Манон опять уходила под эту клеенку, опять становилась ему недоступной.

\* \* \*

Сильно постаревший и похудевший Антон Медальников показался Мите похожим на ангела с лютней, одного из тех, что украшают итальянские соборы на фоне пенящегося ярко-синего порфира, только вместо лютни он прижимал к своему боку какой-то вытянутый полотняный сверток, по которому пробегали огненно-яркие полосы воскресного света. Стоя рядом с Митей и бегло, дружелюбно поглядывая на него, он старательно крестился все время службы и тихо шевелил губами. Нежные его волосы с золотисто-зеленоватым отливом, напоминающие очень молодой лишайник на тонком березовом стволе в прозрачный, холодный и солнечный

---

<sup>25</sup> Ты понял? (франц.)

день, когда каждый завиток и каждая прожилка особенно тонки и ярко-отчетливы, плотно устилали небольшую подвижную голову, а нос с горбинкой и узкими ноздрями, просвечивающими, как папиросная бумага, от пламени мягко пылавшей свечи, был влажен, как будто Медальников плакал.

По окончании службы Медальников приподнял очень худую руку с полусогнутыми пальцами и, распластав ее перед собой, отчего рука его сразу стала похожа на рыбий плавник, начал здороваться со всеми без разбора, бормоча что-то очень приветливое, и так же поздоровался с Митей, который наблюдал за ним с удивлением и любопытством. Они вместе вышли из церкви и, пока шли до метро, разговаривали вяло – казалось, сейчас и расстанутся, – но Медальников пригласил зайти в кафе, посидеть и выпить по чашечке кофе («Другого не пью!» – сказал он со вздохом), и Митя пошел, выпил кофе, потом заказал коньяку и вдруг разговорился по-настоящему, потерял счет времени.

– Однако скажите, зачем вам гиббоны? После того, что вы столько времени занимались почти медициной? – радостно спрашивал он Медальникова. – А я вот верю в Бога и могу работать только над тем, что ведет меня прямо к Нему!

– Ça s'est la meilleure!<sup>26</sup> – с доброй и нежной иронией перебивал его Медальников. – И кто вам мешает? При чем здесь ребятки?

«Ребятками» он называл гиббонов, о которых пять лет назад защитил свою диссертацию.

– Какая все чушь! – морщась, Медальников положил на Митин рукав белую, слегка словно припудренную, но в темных пятнышках возраста худую руку. – Эти зоологи, эти сумасшедшие атеисты, к числу которых и принадлежал мой покойный дядька! Je me suis fait avoir!<sup>27</sup> Он изучал феномен старения, слышали об этом? Да, дядька мой, дядька! Решил, что все болезни связаны с психической неустойчивостью. Но, боже ты мой! Кто об этом не знает? А он пошел дальше и опытным путем доказал, что старость – это совсем не то, что было задумано природой, а вызвано только внешними неблагоприятными причинами, на которые можно воздействовать! И все это кончилось знаете как? Влюбился в девочку, маленькую, семнадцатилетнюю, пушистую девочку, только что со школьной скамьи, она потеряла родителей во время войны, осталась одна, – и женился! Не знаю, о чем она думала! Скорее всего, ни о чем, а просто была голодна и забита. Ребенок! А дядька женился. Ну, вы посудите: ложиться в постель с перепуганной крошкой! – Медальников опять весь сморщился и замахал руками, как будто отгонял невидимых пчел. – От страха ведь он потерял свой рассудок, других причин не было, только от страха!

Митя опустил голову. Медальников быстро взглянул на него. При всей своей мягкости и некоторой даже женственной ласковости он, как очень скоро заметил Митя, обладал особой цепкостью и резкостью взгляда, которая почти обжигала внезапностью.

– Так вот, о гиббонах, – насмешливо продолжал Медальников, – о милых ребятках. Заниматься зоологией тоже можно по-разному. Одни, например, недавно обнаружили, что гиббоны поют песни. Конечно, сенсация! – Он помолчал, и лицо его стало ярко-розовым, словно от стыда. – «Гиббоны и есть наши предки! Ах! Ах!» Но потом, – Медальников понизил голос, – потом оказалось, что у сусликов еще лучше песни! Там просто симфонии! C'est la cata!<sup>28</sup> Нельзя же признать, что мы с вами – от сусликов!

Митя уже не вслушивался в то, что говорил Медальников, а просто смотрел на него. И чем больше он смотрел, тем светлее становилось у него на душе, как будто бы легкое, слегка словно пыльное сияние, исходящее от этой подвижной, вертлявой фигурки с узкими ноздрями и яркой голубизной зрачков, проникало так глубоко внутрь, так грело, ласкало, что еще

---

<sup>26</sup> Вот это новость! (франц.)

<sup>27</sup> Я умираю от скуки (франц.).

<sup>28</sup> Это катастрофа! (франц.)

немного – и Митя заснул бы в кафе на диване. Удивило одно: за весь вечер Медальников ни словом не упомянул о его отце.

\* \* \*

Полосатый вылинявший гамак тихонько скрипел, но лучи солнца сменились внезапно редкими лучами дождя, и на яблоневый цвет под ногами упала серая сеть. Ушаков вскочил и прямо по мокрой, налившейся острым запахом траве зашагал к дому. Краски гор, леса, неба, только что неистово пламенеющие, как будто смутились и стали слегка остывать под дождем, хотя природа ни на секунду не остановила и не замедлила повсюду звенящей, шуршащей, щебечущей жизни. В запахах и звуках этой природы было столько любви всего ко всему, такая неразборчивая была щедрость именно телесной любви, то есть откровенного стремления друг к другу, и жажда телесного счастья, что Ушаков впервые за долгое время почувствовал себя так, словно он единственный, кто пытается жить рядом с собственным телом, делая вид, что радости этого тела ему давно безразличны.

Дождь прекратился так же внезапно, как начался, и светлая, шумящая зелень вновь вспыхнула разом за окнами дома. Назавтра в Вермонте готовился праздник – 4 июля, День независимости. Его отец, Леонид Георгиевич Ушаков, умер именно в этот день, и Митя, в конце концов узнавший настоящую причину его смерти, навсегда запомнил страстную тоску, которая как-то особенно наполняла их с матерью дом четвертого июля. Завтракать в этот день полагалось всем вместе: ему, маме, деду и бабушке. Дед и бабушка тоже дорывались до своего горя, как будто во все остальные дни, кроме этого, им приходилось притворяться, а в этот день можно было забыть о приличиях. После завтрака, во время которого говорили только об отце и все, кроме Мити, плакали, дед и бабушка медленно шли в церковь, и солнце лилось на их плечи, и солнечные пятна горели на черной бабушкиной шляпке, и слишком прямо держался дед, как будто он дал себе слово ни на что не обращать внимания, ни на кого не оглядываться, словно боясь, что случайное впечатление помешает его страданию.

Ушаков видел их перед собою так же ясно, как будто время повернуло назад и они продолжают идти по своей улице, спускаться в метро и стоять над могилой, изредка выщипывая из свежеполитой земли какие-то еле заметные сорняки, словно пытаясь отомстить этим жалким травинкам за то, что те живы, в то время как сын их единственный мертв.

Теперь, проснувшись в Вермонте утром четвертого июля, выйдя на крыльцо своего дома и взглянув на горы, Ушаков привычно вздрогнул от наплыва тоски, которая явно вылупилась из прошлого и была так остро знакома ему. Тоска эта тут же обрела голос, совпала со звуком деревьев в саду, невнятным, но требовательным, похожим на тот, какой наступает в яйце перед появлением птенца. Вскоре к этому голосу присоединилось все остальное: и запах бледно-розового клевера с луга, и крылья заброшенной мельницы, неподвижные на голубизне неба, похожие на крылья гигантской стрекозы, и даже совсем посторонний, случайный, но отчего-то показавшийся ему очень раздражающим и неприятным басовитый гул пролетевшего самолета.

## Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой

Москва, 1933 г.

Мы переехали из гостиницы и живем теперь на Серпуховке в большой квартире с прислугой. Кроме этой прислуги, приходит еще женщина и готовит обед. Сначала мне показалось, что жить в этом городе, где столько всего происходит, очень интересно, я радовалась, что Патрик выбрал именно Москву, а не Китай, куда он чуть было не согласился поехать. Дело не в том, что в Москве ему больше платят, а в том, что здесь я готова была почувствовать себя опять русской и посмотреть на эту новую жизнь другими глазами. Лиза! Все оказалось совсем иначе, совсем и не так, как мы думали с Патриком.

У него за это время были две поездки по Подмоскovie, и обе, как я понимаю, не санкционированные властями. Оба раза он возвращался домой измученным. Я ждала, что он будет со мной делиться, показывать снимки, а он даже не раскрывает в моем присутствии своего рабочего портфеля. Я спросила его почему. Какие между нами секреты? Вчера только все разъяснилось. В британском посольстве показывали фильм «Веселые ребята». Пришли почти все наши, включая Дюранти. Фильм очень веселый, музыкальный, но я взглянула на своего мужа, и все мое веселье как рукой сняло: увидела, что Патрик сидит с опущенной головой и прикрывает глаза ладонью. После фильма пригласили нас ужинать в залу, где устраиваются приемы на двести человек, и тут, за столом, разразился спор между мужем и Дюранти, который сидел рядом со мной. Дюранти поднял тост за процветание советской деревни, а Патрик вдруг так побелел, как это бывает с ним только перед приступами астмы. Он отставил свой бокал и очень тихо спросил у Дюранти, когда тот последний раз присутствовал при процветании: до или после того, как ему дали Пулитцеровскую премию. Дюранти цинично засмеялся и ответил, что не понимает, какая связь между его премией и русской деревней.

– And you, – спросил его Патрик, – you knew you are lying?<sup>29</sup>

– My boy, – ответил Дюранти, – do you really believe that we stay here, in this hell, to tell the truth?<sup>30</sup>

У Патрика затряслись губы, он схватил кусок хлеба и через мою голову поднес его к самому лицу Дюранти:

– Ты видел там хлеб?

Дюранти начал медленно подниматься со стула, и я вдруг вспомнила, как Патрик недавно сказал мне, что у него нет одной ноги – поезд, на котором Дюранти ехал в Ригу несколько лет назад, потерпел крушение, нога была вся раздроблена до колена, и ее пришлось ампутировать. Он начал медленно приподниматься со стула, весь побагровев, и я сообразила, что он дико пьян, ничего не соображает и сейчас ударит Патрика, поэтому я вскочила и схватила его за руку. Он быстро обернулся ко мне и громко засмеялся:

– O, you! May I kiss you?<sup>31</sup>

Я отшатнулась. Патрик немедленно увел меня оттуда, ни разу даже не взглянув в сторону Дюранти. Мы шли пешком, на улице было холодно, плыл очень редкий, белыми, большими звездами снег. И тут Патрика как будто прорвало, я его таким никогда не видела. Он остановился посреди бульвара и закричал. Слава богу, Лиза, что он закричал по-английски, так что, если бы кто-то оказался рядом, нас бы не поняли:

<sup>29</sup> А ты, ты же знал, что врешь? (англ.)

<sup>30</sup> Мой мальчик, а ты веришь, что мы живем в этом аду для того, чтобы писать правду? (англ.)

<sup>31</sup> А, это вы! Можно, я вас поцелую? (англ.)

– Там дети грызут сорняки из-под снега!

Потом он перешел на шепот. То, что он рассказал, так страшно, что в это трудно поверить. Трудно поверить, что одни люди могут приносить другим столько горя! У меня вдруг открылись глаза. Теперь я поняла, почему наша мама до сих пор не засыпает без пистолета под подушкой! Ее напугали в России, Лиза, навсегда напугали, насмерть. Помнишь, как мы смеялись над маминым пистолетом, и папа однажды на нас закричал:

– Благодарите Бога, что вы не знаете, что такое Россия!

У крестьян все давно отобрали, есть им нечего, но коммунисты из городов, которым приказано доставить в город зерно, бесчинствуют, и не существует никаких законов, которые могли бы их остановить. Русских крестьян выбрасывают из домов, убивают, а оставшихся в живых обрекают на голодную смерть. Патрик сказал, что сейчас на юге вымирают целые губернии. Людей голыми выгоняют на мороз и часами не позволяют вернуться в избу, женщин насилюют, поджигают им подола юбок, чтобы они признались, где прячут хлеб, грудных младенцев выкидывают на улицу и не дают матерям подобрать их, часто инсценируют расстрелы, то есть собирают людей, выгоняют их за деревню, выстраивают и открывают огонь поверх голов. Многие не выдерживают этого, теряют сознание, старики сразу умирают. Лиза! И это то, что происходит каждый день, каждый час! В одном колхозе в комнату, где допрашивали людей, принесли разлагающийся труп, свалили его на пол, и там продержали крестьян больше суток. Зачем? С какой целью? Просто для того, чтобы мучить!

Я больше слушать не могла. Меня вдруг начал колотить дикий кашель, я кашляла до рвоты. Потом мы долго стояли обнявшись на этом чужом бульваре, и крупный белый снег – как в нашем с тобой детстве – засыпал все вокруг. Я боялась открыть глаза – до того мне стало вдруг жутко здесь. Спросила у Патрика, что он собирается делать. Он сказал, что собирается поехать на Кубань, написать обо всем и потом напечатать, но только под псевдонимом, потому что иначе не пропустят. Он сказал, что Дюранти мерзавец, проданся большевикам и, чтобы жить так, как он живет, и получать все, что он получает, фабрикует циничные статейки, где утверждает, что русские «просто хотят есть, но не голодают». Ему же, кстати, принадлежит и совсем уже дьявольская фраза, что русские умирают не от голода, «а от недостатка продовольствия».

– Как же ему не совестно? – спросила я и представила себе лицо Дюранти с этими его неподвижными прозрачными глазами.

– Он лгун. Информация, которую он дает Западу, приводит к тому, что до русских крестьян на Западе никому нет дела. Зато официальные отношения с Россией налаживаются, и Европа уже готова проглотить все, что здесь происходит, поскольку ей выгодно!

– Они ему платят за это?

– Еще бы не платят! Ты знаешь, как он здесь живет? Он даже был принят у Сталина! Но на Западе я его разоблачу. Я поеду в Киев, поеду на Кубань, и даю тебе слово: я напишу только правду!

Мне страшно, Лиза. Патрик любит рисковать, он всегда любил. Для него жизнь только тогда имеет смысл, когда он делает что-то, что в любой момент угрожает ему самому прямой опасностью.

Больше мы уже ни о чем не говорили, а быстро дошли до своего дома. В передней горел свет. Прислуга, которую мы должны почему-то называть «товарищ Варвара», уходит в шесть часов вечера, но, если нас нет дома, всегда оставляет свет в прихожей. И я вдруг увидела нашу жизнь совсем другими глазами. Все эти зеркала, настольные лампы, скатерть с бахромой, дубовая мебель, натертый паркет, тяжелые красные шторы – ведь нас покупают, нас этим задают! Нужно, чтобы Патрик писал только то, что разрешается, и за это нас будут кормить икрой, развлекать, катать на автомобилях. Но Патрик совсем не такой, он не будет.

## *Дневник* **Елизаветы Александровны Ушаковой**

**Париж, 1955 г., июнь, 21**

Мальчик! Вчера у Веры родился мальчик! Сколько мы пережили за эти сутки! Утром у нее внезапно открылось кровотечение, Ленечка вызвал ambulance,<sup>32</sup> и ее немедленно отвезли в госпиталь. В ambulance Вера потеряла сознание, и ей сделали укол прямо в машине. Леня не хотел звонить нам так рано, и когда Веру увезли в палату, он остался там, в госпитале, а мы с Георгием спокойно спали и ни о чем не подозревали. Потом к Ленечке вышел доктор и сказал, что положение серьезное, у Веры тяжелая патология, placenta praevia,<sup>33</sup> и мать, и ребенок могут погибнуть. Вера потеряла очень много крови, а у ребенка из-за неправильного положения внутри матки развилась асфиксия, и нужно немедленно делать кесарево, потому что главное – это спасти мать. Тогда Леня позвонил нам и попросил приехать. Мы с отцом поймали такси и через пятнадцать минут уже были в Clinique de la Muette. На Ленечке не было лица, его всего колотило. Прошел час, но к нам никто не спустился, и я уже не знала, что думать. Наконец появился тот же доктор, который уже говорил с Леной, и сообщил, что родился мальчик, очень маленький, весит всего 2 килограмма 200 граммов, очень слабенький, но, судя по всем предварительным оценкам, жизнеспособный. Я сразу заплакала. Доктор сказал, чтобы мы шли отдыхать, потому что Вера сейчас спит после наркоза и потери крови, спать будет долго, а ребенка уже переместили в инкубатор. Я не могла справиться со слезами и все спрашивала:

– Скажите, какой он? Какой?

– Маленький, – ответил доктор. – Маленький, слабенький. Тяжелые роды, серьезная патология. Придется вам повозиться.

Господи! Только дай ему выжить! Не наказывай всех нас за меня, за мои грехи. Спросила у Ленечки, как они собираются назвать мальчика. Леня сказал, что Вера хотела бы Дмитрием. Мне очень нравится. Митя, Митенька. Дмитрий Ушаков.

### **Вермонт, наше время**

В полдень Дмитрию Ушакову позвонила Ангелина Баренблат, которая на правах самой уважаемой и близкой к кругу Солженицына защитницы русского языка в летней школе взялась опекать неопытного и одинокого парижанина.

– Да где вы, дружок? – ласковым, простым и слегка только настойчивым голосом спросила Ангелина. – Обед уже скоро. Все ждут не дождутся.

– А кто меня ждет? – принимая ее слова всерьез, спросил он.

– Да все до единого! Сами увидите!

Ушаков надел белую рубашку, просторные серые брюки, хорошие летние туфли. Отчасти он был ведь французом, он вырос в Париже, и эта слегка возбужденная элегантными привычками жизнь продолжала циркулировать в нем вместе с кровью. Он никогда не позволил бы себе прийти в ресторан без пиджака, набросить пальто без непременно, пускай и ненужного шарфа, гулять по холоду без перчаток. Придерживаться этих правил было проще всего остального, и он их придерживался.

---

<sup>32</sup> Машина «Скорой помощи» (франц.).

<sup>33</sup> Placenta praevia – предлежание плаценты (лат.) – неправильное прикрепление плаценты в матке, из-за чего перед родами или во время родов у женщины может начаться кровотечение. Причина предлежания плаценты неизвестна. При полном предлежании плаценты роды должны осуществляться с помощью кесарева сечения. Во всех остальных случаях женщина может родить ребенка естественным путем, однако при этом должны быть предприняты определенные меры, гарантирующие безопасное течение родов.

У Ангелины Баренблат в том же самом Париже, который шумит старомодной листвою и тускло краснеет воспетыми крышами, жила третий год дочь Надежда, женщина молодая, с глазами как черные вишни, весьма расторопная в мыслях. Расставшись с американским мужем, от которого у нее завелось двое мальчиков, красивых и смуглых, весьма тоже бойких, Надежда влюбилась в Роже Леруа, который служил священником в церкви на рю Дарю. Немедленно став мадам Леруа, она прихватила детишек, когда-то рожденных в Нью-Йорке, в Париж и там разрешилась младенчиком Настей. А летом все жили в Вермонте под теплым, тяжелым крылом Ангелины, Надеждиной матери, женщины властной.

Теперь, чувствуя что-то вроде личной ответственности за этого русского француза, свалившегося на их голову, богатого, если верить тому, что говорят, к тому же философа и антрополога, к тому же нисколько – увы! – не женатого, Надежда была вся сама не своя.

– Нету у него никакой женщины! – энергично раздирая щеткой черные, мокрые после утреннего купанья в реке волосы, выкрикивала она и косила глазами. – Как перст. Милый, славный! Семья – то, что надо. Сплошные дворяне.

– Хватит нам дворян, – опуская редкие ресницы, заметила Ангелина. – Еще раз хвостом крутанешь... Сама знаешь!

– О господи, мама! – с сердцем воскликнула Надежда и выдрала пук черной блестящей шерсти, повисший на щетке, как мох. – Да мне-то с чего? Мне чего не хватает? Ему бы вот Саскию. Вот это пара!

– Армянка, – отрезала Ангелина. – Провинция. Лезет без мыла. Не думаю я, что он клюнет.

– Другие клевали.

– Не все. И напрасно. К тому же ведь он православный, он русский, а эти армяне... Армяне – католики.

– Армяне – католики? С каких это пор вдруг армяне – католики?

– А кто же? Конечно, католики.

Но тут забили молотком по большому тазу на крыльце столовой, приглашая к обеду, и, блестя загорелыми ногами, потянулись на серебряный звон молчаливые студенты, и, громко разговаривая, заспешили преподаватели: сперва, разумеется, женщины – плавные, с ямочками на локтях, с распущенными волосами москвички и одесситки, суховатые, смуглые, с мелкими косточками ключиц и лопаток славистки из штата Айова, две-три уроженки (из русских!) Квебека и несколько молодеватых старушек, бывших диссиденток, в кроссовках и в гольфах. На пригорке женщин догнали мужчины в простых серых майках, в застиранных шортах, слегка взъерошенные после предобеденного сна, с приставшими к волосам травинками, с глазами твердыми, блестящими здоровым охотничьим нетерпением, которое здесь, на цветущей природе, не знало преград, о себе заявляя.

Среди пестрых сарафанов и небрежных маек бросались в глаза и известные люди: отгоняя бабочек от острого лица своего, почти не отличимая на недалеком расстоянии от Марины Цветаевой, прошла поэтесса по имени Мориц, поэты Коржавин и Найман, художник Комар, эссеист Кривошеин, потом начинающий Брицман, Андруша, потом пианист – очень славный – Рахминов, потом даже дочь скрипача Нина Коган, потом все их жены, мужья, внуки, дети...

Сегодня готовился праздник с концертом, и ночь под гитару, и песни, и пляски. Как дети, которые, наконец-то оставшись одни, предвкушают, что до рассвета можно будет не ложиться спать, и пальцами вытаскивать из сливового варенья самые большие сливы, и наряжаться в мамины платья, и краситься ее помадой, и пробовать вина из синих бутылок, и целоваться в уборной, и выяснить, кто как устроен под брюками с платьем, – вот так эти умные, взрослые люди, дорвавшись до жаркого солнца Вермонта, пускались на все, лишь бы только вососаться в тягучую сладость отпущенной жизни, подобно настойчивым пчелам и осам.

## Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой

**Москва, 1933 г.**

Помнишь, Лиза, как мама когда-то (нам с тобой было лет тринадцать-четырнадцать) злилась на папу, когда он говорил, что, может быть, большевики не все такие плохие, что «нарыв» вот-вот «рассосется» и когда-нибудь нам можно будет даже вернуться в Россию? Мама тогда кричала, что в Россию после *этого* могут возвращаться только предатели или идиоты. Конечно, она была права, как всегда и во всем. После того, что я узнала от Патрика, мне страшно здесь жить. Теперь я стала замечать то, на что раньше не обращала внимания. Лиза, голодные есть и в Москве! Они просачиваются из деревень, доползают сюда, в столицу, надеясь прокормиться подаянием, но их гоняет милиция, их избивают и выбрасывают обратно. Но главное, Лиза, что случилось с людьми? Куда делась доброта, страх пройти мимо чужого горя, христианское милосердие? Насаждается одно: жалеть – это стыдно, просить – унижительно, и главное – сила. А что делать слабым, куда им деваться? Каждый вечер устраиваются облавы, и еле держащихся на ногах голодных людей заталкивают в товарные вагоны для скота, отъезжают подальше и сваливают в поле на верную смерть!

Патрик готовит большой материал о голоде для «London Post», называться это будет вполне нейтрально: «An Observe's Notes». <sup>34</sup> У него куча снимков, и я теперь не просто хожу по улицам, как раньше, а всматриваюсь в лица, обращаю внимание на бледность, одутловатость, застывший в чертах страх и на ту робкую, монашескую походку, которая сейчас отличает очень многих в московской толпе. Лиза, ты эти фотографии, которые мне показал Патрик, никогда не увидишь, но ты мне поверь: ничего страшнее, чем голодные муки, нет на свете.

В Москве полным-полно беспризорников, и на них, по-моему, никто не обращает внимания. Бездомные дети собираются стаями, как птицы, жгут вечерами костры во дворах, что-то жарят себе на этих кострах, курят. Есть даже совсем маленькие, не старше шести-семи лет. Говорят, что многие из них уже побывали в детских домах и сбежали оттуда. Я как-то не выдержала и спросила у товарища Варвары, почему же никто об этих детях не заботится и откуда они берутся. Она отвела глаза в сторону и сказала, что это, наверное, кулацкое «семья», отпрыски врагов, и таких детей государство будет кормить в последнюю очередь. Если бы наши с тобой родители, Лиза, слышали эти слова!

Мне теперь тягостно находиться дома, когда сюда приходит эта Варвара, мне кажется, что она за мной присматривает, подслушивает мои разговоры по телефону, и я каждый день, если только не очень холодно, ухожу гулять и долго брожу одна по московским улицам.

---

<sup>34</sup> «Записки наблюдателя» (англ.).

## *Дневник* **Елизаветы Александровны Ушаковой**

**Париж, 1957 г.**

Моему внуку Мите исполнилось вчера два с половиной года, поэтому я испекла торт и пошла к ним. Лучше мне было не делать этого! В нашей семье таких жестоких людей, как Вера, не было. Я давно замечала в ней неприветливость, скрытность и даже говорила об этом Ленечке, но Ленечка тут же начинает напирать на ее детство, на то, как их бросил отец, когда Вере и трех лет не было, и мать зарабатывала на жизнь тапершей в русском ресторанчике. От всей этой жизни у Веры невеселый характер, она обижена на отца не только за себя, но и за мать, и часто срывает свою обиду на окружающих, хотя сердце у нее очень доброе. Я эти разговоры про тяжелое детство не признаю. Все заложено в душе с самого рождения, иначе очень легко было бы разделить человечество по простому принципу: хорошее детство – значит, будешь хорошим и добрым, а плохое – так и вырастешь негодяем, и ничего тебе не поможет! Кстати сказать, так ли уж это важно, что именно произошло с Вериним отцом двадцать два года назад? Какая разница, бросил он их или просто умер? Важно только то, что они не жили вместе, а обиды на человека, которого не помнишь и не знаешь, быть не должно. Но Лене объяснять такие вещи бесполезно, он ничего, кроме ее лиловых глаз и негритянского *derrière*,<sup>35</sup> не замечает.

Вчера, когда я, радостная, пришла к Вере пораньше, чтобы помочь ей с обедом, она меня встретила с поджатыми губами, и у меня тотчас же оборвалось сердце. Митенька спал, слава богу. Вера подождала, пока я сниму пальто, молча, с поджатыми губами (кому нужна такая злая красота?), потом, наслаждаясь моей растерянностью, сообщила, что ей нужно со мной поговорить, и это очень срочно. Я сначала испугалась, не случилось ли чего-то с Ленечкой или с Митей, но вдруг по этим злым и мстительным глазам сама догадалась, о чем будет разговор.

– Если вы хотите и впредь видеть Митю, то я прошу вас не таскать ребенка на свои интимные свидания.

Во мне остановилась вся кровь.

– О чем вы? – спросила я.

– Оставьте вы этот театр! – закричала она. – Вы прекрасно знаете, о чем я! Я давно догадывалась, что у вас есть любовник, и мне было стыдно за вас перед Леней!

– *Fait gaff!*<sup>36</sup> – сказала я. – Не говорите лишнего! Какое вам дело до моей жизни?

– Какое мне дело? Какое мне дело, если вы берете ребенка на прогулку и тут же в кафе встречаетесь со своим любовником! А если вы в следующий раз потащите Митю к нему на квартиру?

Мне захотелось ударить ее. Она причиняла мне такую боль, так дико было то, что она со мной делала! Больше всего меня испугало, что она уже рассказала обо всем Лене.

– Ненавижу вас! – прошептала я. – И не собираюсь оправдываться в том, что в один прекрасный день зашла в кафе выпить чашку кофе и встретила там своего знакомого.

Вера могла видеть меня в «*Le Deux Magots*» не один раз, а сколько угодно, потому что «*Le Deux Magots*» в двух шагах от ее работы! Как же это никогда не приходило мне в голову? Мы с Н. встречаемся в этом кафе много лет, но в прошлую среду я действительно взяла с собой Митю, мне хотелось, чтобы Н. на него посмотрел.

---

<sup>35</sup> Зада (франц.).

<sup>36</sup> Осторожно (франц.).

– Да вы же все лжете! Вы лжете всю жизнь! Мне дела нет до ваших отношений с Георгием Андреевичем! *Je laisse passer!*<sup>37</sup> Но Митю я вам не позволю уродовать! Хватит того, что вы изуродовали своего сына! Не удивляйтесь тогда тому, что с ним происходит!

Не знаю, на что она намекала, но я вдруг поняла, как нужно себя вести.

– Звоните! – сказала я. – Звоните обоим. И Лене, и Георгию Андреевичу! И пусть сегодня же все и решится. Я сама им скажу.

И схватилась за телефон. Она прыгнула на меня, как пантера, и вырвала из моих рук трубку.

– Хотите, чтобы Георгия Андреевича увезли с сердечным приступом, и Леня обвинил меня, что это я во всем виновата? Что я довела семью до катастрофы? Хотите вы этого, да? Я вам не доставлю такого удовольствия! *Ne tremblez pas trop vite!*<sup>38</sup> Я давно знала, что в вашей жизни есть какая-то ужасная ложь! Почему вы не ушли от Георгия Андреевича, если вы его не любите? Зачем нужно было так лгать?

– Я люблю Георгия Андреевича, – сказала я и вдруг почувствовала, что плачу. – Не смейте этого говорить!

– Мой сын никогда не будет дышать ложью! – начала было она, но тут Митя заплакал в соседней комнате, и, с раздувшимися ноздрями, вся белая от победы надо мной и торжествующая, Вера побежала к нему.

Я наконец нашла в себе силы подняться и уйти. С трудом надела плащ, взяла свою сумку, вызвала лифт. Все было больно, даже прикосновение пальца к кнопке лифта, который тошнотворными толчками пошел вниз, и казалось, что он вот-вот сорвется в преисподнюю. На улице я ощутила на своем лице много воды, но не сразу даже и поняла, что это идет дождь. Стыд скрючил всю меня изнутри: смотрела и ничего не понимала, все разваливалось. Я взяла такси, вернулась домой, пробормотала мужу, что у меня мигрень, и закрыла дверь в свою комнату. Мне хотелось одного: провалиться, ничего не чувствовать, но я чувствовала каждую свою косточку, каждую жилку, каждый волосок, потому что все, из чего я состою, причиняло мне боль. Туго-натуго завернулась в простыню, навалила на лицо подушки, но боль не проходила. Потом все-таки умудрилась заснуть. Приснилась какая-то липкая гадость, членистоногие существа – то ли насекомые, то ли животные.

В пять меня разбудил Георгий. Я сказала, что у меня очень болит голова, и я не пойду на рождение к Митеньке. Он принес мне чаю с таблеткой и велел, чтобы я не вставала, потому что это может быть началом гриппа. Потом ушел.

Господи! Я проклинаяю себя. Мне пятьдесят один год. Терпеть такой стыд!

### **Вермонт, наше время**

Ушаков сразу же почувствовал себя неловко в замшевых ботинках и серых брюках, в то время как все были в кроссовках и шортах, он почувствовал, что и приезд его сюда – всего лишь ненужная попытка завязать никому не нужные знакомства, и с этими громкоголосыми людьми его связывает еще меньше, чем с теми русскими, которых он оставил в Париже. Поймав обращенные на себя взгляды, он с трудом удержался от того, чтобы сразу же и уйти, поскольку тут был свой налаженный мир, свои разговоры и страсти, и сплетни, и все это густо и вкусно варилось в пронизанной солнцем огромной столовой. Американские студенты держались особняком, они сидели за отдельными столами и изредка только взглядывали на своих преподавателей, которые – с перегруженными подносами – рассаживались кто с кем захочет, не прерывая начатых по дороге разговоров.

---

<sup>37</sup> Я не вмешиваюсь (*франц.*).

<sup>38</sup> Не обольщайтесь (*франц.*).

Сейчас, когда все были увлечены пестрыми от горячей еды тарелками, где темно-лиловая кровь запеченной бараньей ноги мешалась с разваренной, желтой картошкой, которую ели еще с Гайаваты, и дочь Ангелины Надежда, знавшая Ушакова по Парижу, была занята своими детьми, у которых текло по губам и по шеям розово-синее мороженое, – сейчас он, наверное, мог бы уйти. Но он замешкался, и тут же они обе заметили его: и мать, Ангелина, и дочка, Надежда. Радостно растопырив руки, они бросились к нему так, как будто он только что погибал внутри свирепого пожара или на льдине, которую оторвало от берега, и она блуждала в открытом море, скрежеща о другие льдины, но его спасли: седые и красные пожарники (если представить, что он погибал в огне!), и столь же седые, заиндевшие, в тяжелых и мокрых плащах, мореходы (если говорить о льдине!), и вот он теперь, утомленный, красивый, пришел к ним в столовую, проголодался. Они бросились к нему и заключили его в объятия, потому что истинно русское гостеприимство в том и заключается, чтобы обнять человека всего – с его головою, руками, ногами, – притиснуть к себе, дать ему почувствовать и мягкость своей материнской груди с ее натруженными сосками, и жар живота, и раздолье коленей, а потом, выждав паузу, осыпать пронзительным градом вопросов. Не слушая ответов, мать с дочерью повлекли Ушакова к столу, на котором лежали оранжевые пластмассовые подносы, и, сунув один ему в руки, взялись за опеку.

– Салату хотите? Возьмите, он свежий. А свеклы хотите? У вас как с желудком? Да, господа, Надя! Что ты мне свои круглые глаза делаешь? Вареную свеклу весь мир сейчас ест! И свеклу, и тыкву, и корки от дыни! Разваришь все вместе и – в миксер! И на ночь! С простой простоквашей, как в русской деревне! Весь мир согласился! Ростбифу хотите? Вы любите с кровью? У вас там в Париже едят все сырое! Да, господа, Надя, я что, не была там? Была там и ела, и страшная гадость! Ну, вкусы другие, о вкусах не спорят.

А Надежда, привычно распределив вокруг бровей кучерявые волосы и отодвинув подальше от себя смысленных детей своих, липких от ягод, спешила познакомить Ушакова с наиболее достойными обитателями столовой.

– Коржавина знаете? Вон он, Коржавин! Вы только не спорьте, не нужно с ним спорить! Он слишком горюет о судьбах России, а так очень добрый, простой и хороший. А это вон Найман, был дружен с Ахматовой. Его называют – вы знаете, как? Нагнитесь. Я вам одному – по секрету!

Ушаков нагнулся, и Надежда шепнула ему, как называют сплетники достойного друга поэта Ахматовой. Он продолжал улыбаться, но тоска одиночества, которая сегодня утром так накрутила его душу на свои пальцы, словно душа его была прядкой стариковских волос, – тоска эта снова взялась за свое, и он пожалел, что приехал.

– А вон Жолковский. Красавец наш юный! Знаете, сколько ему лет? За семьдесят с гаком! Так, во всяком случае, люди говорят. А выглядит вечно на тридцать. Загар, бег и теннис. И вечно влюблен. Причем каждая следующая любовь на десять лет моложе предыдущей. «Голые пионерки»! Роман такой есть, весьма средний. Но мы не ханжи, мы все любим плейбоев. Ну, мама, не смейся! Я – что? Я серьезно. С Найманом он на ножах из-за Анны Андревны. Но с Найманом все на ножах, но по разным причинам. Жолковский считает, что Ахматова – это вроде как Сталин, только в литературе. Не знаю, не спорю. Пусть время покажет! Пойдемте, и я вас сейчас познакомлю, пойдемте!

– А может быть, лучше попозже? – неуверенно пробормотал Ушаков.

– Да что там попозже? Пойдемте, пойдемте! У нас тут не скучно!

За десять минут его перезнакомили со всеми и наконец позволили вернуться к оранжевому подносу, на котором давно все остыло. Есть ему не хотелось, но он поел, и после обеда выполнил все, что от него требовалось: поговорил с Коржавиным, тут же рассердившимся на него за французскую толерантность, пожал руку Найману, человеку изящной внешности, с глазами печальными, полными муки, и поймал на себе снисходительную усмешку Жолковского,

который, судя по всему, догадался, что Ушаков не читал ни одну из его работ о хитростях Ахматовой.

– Сюда-то зачем ты приехал, в Америку? – спросил его Коржавин, и от этого простого вопроса Ушаков неожиданно смутился, как будто его поймали на обмане.

– Я буду работать в Нью-Йорке.

Коржавин вздохнул и кивнул с огорчением, давая понять, что все происходящее на этом свете, включая Нью-Йорк и любую работу, не вызывает у него ничего, кроме тревоги за судьбы мира.

– У нас в шесть – концерт, – краснея всем телом, сказала Надежда. – Потом будут танцы, костер и купанье, и мы вас там ждем. Пойдите пока прогуляйтесь, мне нужно костюмы проверить.

Он вышел из столовой и неторопливо пошел по направлению к реке, близость которой чувствовалась больше по ее памяtnому с детства запаху, чем по слабо вспыхивающей и пропадающей голубоватой полоске между высокими деревьями и густыми травами вдалеке.

## Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой

**Москва, 1933 г.**

Лиза, не сердись. Я тебе сейчас все расскажу. Не писала, потому что все эти дни провела довольно грустно и почти не выходила из дому. Радио московское невозможно слушать – одни победы, соревнования, хвальба, достижения и призывы защищать большевистскую Родину от врагов. Враги им мерещатся везде, и любой человек вызывает подозрение. Послушаешь это радио – и хочется бежать куда глаза глядят! Патрик собирается ехать на Кубань, его обещали провезти по самым голодным районам. Бог знает, что там может случиться. Спорить с ним и просить его хотя бы повременить с этой поездкой – бесполезно.

Вчера наконец я решила пройтись. Иду по Серпуховке, уже темнеет, прохожих немного, сыпется редкий и сонный снежок. На пути все чаще попадаются пьяные, которых здесь так же много, как в северных районах Парижа, но милиция не обращает на них никакого внимания: протрезвеют и сами уберутся. В Москве почти нет питейных заведений, но водку можно дешево купить в любом государственном магазине, и, как заметили мы с Патриком, русские пьют много, но совсем не так, как на Западе. У нас народ пьянеет постепенно, коротая время в приятной беседе, неторопливо опрокидывая стаканчик за стаканчиком, а здесь люди страшно и быстро напиваются до полного одурения, как будто с разбегу бросаются в пропасть. Говорят, что на среднего посетителя московской пивной приходится по четверти ведра пива в день.

Иду и вдруг слышу – меня кто-то догоняет:

– Hi, baby!<sup>39</sup>

Оборачиваюсь – Дюранти. Роскошное свободное пальто, серая кепка, в руках палка с серебряным набалдашником, который сверкает сквозь снег.

– Откуда вы здесь? – спросила я по-русски.

– Я ехал на машине, смотрю – вы. – Он тоже перешел на русский. Говорит свободно, но с сильным британским акцентом. – Вашу фигурку нельзя ни забыть, ни перепутать. Я бросил машину и стал догонять вас.

Он вдруг близко-близко подошел ко мне. Дюранти не очень высокий, но все-таки выше меня, и когда он наклонился, его губы почти коснулись моего лба, моих волос. От него пахло спиртным.

– Не бойтесь. Я сыт и не съем вас.

Он всегда был мне неприятен, с самой первой встречи, и муж мой считает его негодяем, но я не могу не признаться тебе в том, что всякий раз, когда он вот так близко подходит ко мне, я как-то обмякаю и чувствую, что между нами нет никакой преграды и что он может сделать со мной все, что захочет: обнять, поцеловать прямо в губы, даже ударить меня по лицу. У него какая-то физическая власть надо мной, Лиза, но я не виновата в этом. Не виноваты же мы в том, что идет снег?

Я хотела отодвинуться от него, даже, может быть, убежать – как бы глупо это ни выглядело! – и не смогла. А он стоял и прерывисто дышал мне на лоб своим очень горячим дыханием, потом усмехнулся и несколько раз поцеловал меня в брови и в глаза. Тут я наконец опомнилась и отскочила от него.

– Что вы себе позволяете?

Кажется, я произнесла это вслух, но точно не знаю – может быть, мне показалось, что я это произнесла. В темноте у него совсем другое лицо: ничего в нем нет жесткого и насмешли-

---

<sup>39</sup> Привет, малышка! (англ.)

вого, напротив, что-то даже простодушное, только глаза нагловатые, и, когда он всматривался в меня сквозь снег, они опять странно, по-сумасшедшему блестели. Потом он засмеялся низким, хриплым смехом, отступил в сугроб.

– Ну что, подвезти вас?

– Нет! Я лучше пройдусь.

– Смотрите, в Москве небезопасно.

Мне показалось, что он действительно сейчас уйдет, а я не хотела, чтобы он уходил!

– Я позвоню вам завтра, – сказал он, – покатаю вас по городу, покажу кое-что интересное, только с одним условием.

– Каким?

– Не говорите своему мужу.

Я, наверное, так покраснела, что он заметил это даже в темноте.

– Ого! Что я вижу! У вас разве нет секретов от мужа?

– Почему у меня должны быть секреты от него?

Он взял меня обеими руками за талию и крепко притиснул к себе.

– А вот почему.

Я высвободилась из его рук, но не сразу. Не сразу! Потому что меня словно бы парализовало, и я застыла, уткнувшись в его воротник и дыша запахом его крепкого одеколona.

– Отпустите меня, – пробормотала я.

– Идите.

И тут же действительно отпустил меня. Я ничего не сказала Патрику об этой встрече, но ночью не спала и решила, что, когда Дюранти позвонит, я попрошу его больше меня не беспокоить. Целый день я ждала его звонка, но телефон молчал. Сейчас уже полночь. Пишу тебе и мучаюсь. Неужели я такая развратная, подлая дрянь?

## *Дневник* **Елизаветы Александровны Ушаковой**

### **Париж, 1958 г.**

Я две недели не была у своих после Веринной выходки. Георгию говорю, что у меня болит горло и я боюсь заразить Митю. Сажу дома, занимаюсь переводами. На душе тяжело, сплю плохо, все время плачу. Проводила маму и папу в Тулузу. Мама надела в дорогу ярко-васильковую шляпу, от которой ее глаза стали еще синее. О чем я? Зачем? Какая разница, что надела в дорогу моя старая мама? Пишу всю эту чепуху, потому что смертельно боюсь. Боюсь того, что случайно увидела, боюсь думать об этом, а мысли не уходят.

Вчера я пошла прогуляться и сама не заметила, как вечером, часов в шесть, дошла до Лениного дома. Спихватилась и решила как можно быстрее уйти, чтобы меня – не дай бог – не заметил сын, который в это время обычно возвращается с работы. Но я не успела уйти, потому что увидела Ленечку, который ехал на велосипеде в какой-то странной, ненатуральной позе – сидя очень прямо и высоко держа голову. Вокруг было много машин, которые сигналили ему и резко тормозили, чтобы не сбить его, водители высовывались из окон, осыпали его руганью, а он словно бы ничего не замечал. Я так удивилась и перепугалась, что даже не окликнула его, меня как будто что-то удержало. И слава богу, что я его не окликнула. Он проехал мимо меня с тем же странным лицом и остекленевшими глазами, высоко задрав подбородок, потом остановился, бросил велосипед у подъезда и прошагал мимо, не обратив на меня никакого внимания. Я ничего не понимаю. Неужели он так напился? Но Леня никогда не напивается, это на него не похоже. Не нанюхался же он какой-то дряни!

Позвонить, может быть, Вере? Но как? После того, что она мне устроила? И что ей сказать? Что Леня был пьян и меня не заметил?

### **Вермонт, наше время**

К реке вела узкая тропинка, с обеих сторон поросшая густой травой, лопухами, крапивой. Ушаков, унаследовавший от своих родных то исконно русское, старинное и без жалости утраченное сейчас чувство природы, которое ничего от нее не требует, кроме красоты и в детство влекущей пронзительной силы, шел не торопясь, с наслаждением вдыхая в себя те запахи, которые были знакомы по Тулузе, где раньше был дом его прадеда и куда мать часто ездила с ним, маленьким, после смерти отца. Запах боярышника, заждавшегося дождя, смешивался с запахом тех белых и душистых цветов, которые всегда растут по низовьям и болотам и пахнут еще слаще фиалок, а вспышки солнечного луча вдруг прямо на глазах оборачивались большими, задумчивыми бабочками, летящими из березовой глубины.

Речная заводь, поросшая кувшинками, была близко, он расстегнул рубашку, снял ботинки, сделал еще несколько шагов и вдруг остановился. Вся его дорога через лес заняла минут пятнадцать, и он не встретил ни одной живой души, кроме птиц и насекомых, а здесь, в нескольких метрах от него, спиной к нему, по колено в воде стояла женщина в черном купальнике и обеими просвечивающими на солнце руками скручивала на затылке рыжевато-золотистые волосы. В первый момент она показалась ему настолько естественно вписанной в эту зелень, что он не сделал ничего, чтобы дать ей заметить свое присутствие. Он просто стоял и смотрел на нее так же, как смотрел на цветы и деревья. Она заколола волосы, вошла в воду немного поглубже, оттолкнулась и поплыла. Ушаков с наслаждением водил глазами по ее голове, по голым рукам, то появляющимся над голубизной, то вновь пропадающим в ней, и ему хотелось задержаться внутри этой минуты, повиснуть, застыть, как пчела застывает над цветком. Разрушить молчанье и дать незнакомой купальнице обернуться, показать ему лицо,

которое могло оказаться неприятным, было все равно что заставить себя проснуться в самый разгар веселого и радостного сна.

Он осторожно отступил обратно, в тень разогретого хвойного леса, и тихий-тихий, еле слышный звук воды, повисший за его спиной, как ниточка голоса маленькой птицы, подсказал ему, что эта женщина не заметила его и продолжает плыть дальше, а золотистая голова ее по-прежнему вспыхивает на солнце.

К шести, после чая с бисквитами, вся русская школа собралась в большом чистом зале, раскрыли рояль в ожидании концерта, расселись, расправили плечи. Женщин, как всегда и везде, было больше, чем мужчин, и почти все они отличались деревенской свежестью лиц и приветливостью улыбок. Нельзя было не кивнуть в ответ на эти взгляды, которые лепились к Ушакову, как чуткие осы к варенью из яблок. Ангелина по-родственному цепко придерживала его за рукав и все восклицала: «Надежда пропала!» Надежда и в самом деле появилась позже остальных, и тут же, за нею, из распахнувшихся дверей вылилась пестрая волна молодых девушек в красных сарафанах, под которыми были надеты белые украинские рубашки с вышитыми красными нитками петухами. Желтые платочки блестели на светлых и темных головках девушек, и сразу, при виде гостей, они ловким движением сорвали их, низко поклонились и описали желтыми платочками быструю радугу в воздухе.

– Русский народный танец «Лютики-цветочки»! – залиристо-нервно вскричала Надежда.

Вновь повязавшись платками, девушки пошли хороводом по центру зала, быстро вертя в разные стороны своими желтыми затылками. Вскоре за этим трое из них, оторвавшись от остальных, образовали еще один хоровод и закружились, сильно откинувшись назад, так что под белыми рубахами скульптурно, как у статуй, обрисовались их молодые груди и тонкие девичьи талии. Закончив танец, плясуньи вновь сорвали с голов желтые платочки, вытянулись в ряд, стыдливо краснея, с опущенными ресницами, как будто вернулась пора крепостничества, опять поклонились и выплыли прочь. Им долго, взволнованно хлопали.

Через пару минут к роялю, слегка расстроенному, но все же хорошему, добротному, подошла тоже весьма молодая еще девушка с розовато припудренным и несколько тяжеловатым в своей нижней части лицом и сильно накрашенными серыми глазами. Она подошла стремительно и настойчиво, словно рояль был крепостью, которую она намеревалась взять приступом, хотя улыбалась при этом беспечно, как будто бы так и должно быть, чтобы молодые, розовато припудренные, с тяжелой нижней частью красивого лица девушки почти каждый день брали силою крепости. Красное платье, бывшее на пианистке в этот вечер, сверкало нанизанным бисером, и в тот момент, когда она решительно усаживалась за инструмент, ее волевые колени откинули ткань, как портьеру в театре.

– Вы знаете Ольгу? – Ангелина тяжело дышала рядом. – Она – Ольга Керн. Вы, наверное, слышали.

– Как Ольга? – растерялся Ушаков. – Не Ольга, насколько я помню, а Анна.

– Заладили все как один: Анна, Анна! С ума посходили по этой, по Анне! – рассердилась Ангелина. – Не Анна, а Ольга! Все думают: ах, если Керн, значит Анна! А вот и неправда! Не Анна, а Ольга!

Воздушно припудренная Ольга ударила по клавишам с такой раздражительной силой, что все содрогнулось: и небо, и люди, и лес вместе с полем. Она разбивала сонату номер один, написанную молодым композитором Шостаковичем в тысяча девятьсот двадцать седьмом году, так, как будто под руками ее было тело соперницы, застигнутой утром в постели супруга.

– В прабабку пошла, в эту, в Анну, – не удержалась Ангелина. – Та тоже до ста прожила.

И хотя не было до конца понятно, какая связь между затянувшейся жизнью Анны и пианистическим искусством Ольги, но Ушаков согласился и с этим. Слушая неистовой силы игру

новой Керн, он исподтишка разглядывал людей, собравшихся в зале. Женщины, которую он совсем недавно оставил одну между белых кувшинок, сейчас среди зрителей не было.

## Голод

### **Партия большевиков в борьбе за коллективизацию сельского хозяйства 1930–1934 годы**

Массовое вступление крестьян в колхозы, развернувшееся в 1929–1930 годах, явилось результатом всей предыдущей работы партии и правительства. Рост социалистической индустрии, начавшей массовую выработку тракторов и машин для сельского хозяйства, решительная борьба с кулачеством во время хлебозаготовительных кампаний 1928 и 1929 годов, рост сельскохозяйственной кооперации, которая постепенно приучала крестьянина к коллективному хозяйству, хороший опыт первых совхозов и колхозов – все это подготовило переход к сплошной коллективизации, вступление крестьян в колхозы целыми селами, районами, округами. Переход к сплошной коллективизации происходил не в порядке простого и мирного вступления в колхозы основных масс крестьянства, а в порядке массовой борьбы крестьян против кулачества. Сплошная коллективизация означала переход всех земель в районе села в руки колхоза, но значительная часть этих земель находилась в руках кулаков, – поэтому крестьяне сгоняли кулаков с земли, раскулачивали их, отбирали скот, машины и требовали от Советской власти ареста и выселения кулаков.

Сплошная коллективизация означала, таким образом, ликвидацию кулачества. До 1929 года Советская власть проводила политику ограничения кулачества. Советская власть обладала кулака повышенным налогом, требовала от него продажи хлеба государству по твердым ценам, ограничивала кулацкое землепользование законом об аренде земли. Такая политика вела к тому, что задерживался рост кулачества, вытеснялись и разорялись отдельные слои кулачества, не выдержавшие этих ограничений.

В 1929 году Советская власть сделала крутой поворот от такой политики. Она перешла к политике ликвидации, к политике уничтожения кулачества как класса. Она сняла запрет с раскулачивания. Она разрешила крестьянам конфисковать у кулачества скот, машины и другой инвентарь в пользу колхозов. Кулачество было экспроприровано. Тем самым были уничтожены внутри страны последние источники реставрации капитализма.

Краткий курс истории ВКП(б), глава XI<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> «Краткий курс истории ВКП(б)» – учебник по истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), опубликованный в 1938 году. «Краткий курс» с 1938 по 1953 год издавался 301 раз в количестве 42 816 тыс. экземпляров на 67 языках.

## Анастасия Беккет – Елизавете Александровне Ушаковой

**Москва, 1933 г.**

Вчера мы были приглашены в Большой театр на премьеру нового балета Шостаковича «Светлый ручей». Сказали, что приедет сам Сталин и другие члены правительства. В Москве стало совсем холодно, все время идет снег. Я хожу в своем рижском пальто – слава богу, что не пожалела денег и сшила его, как полагается: с большим меховым воротником и на ватной подкладке. Патрик сказал, что на премьере будут не только все наши, но и американцы со своими женами. Я пригласила на дом парикмахера и сделала прическу. Теперь я ношу волосы, почти закрывающие шею, бархатный обруч, и из-под обруча выпускаю челку, которую мне вчера так закрутили, что казалось, будто на лбу у меня пристроилась плотная темная змея. Платье я надела шелковое, темно-синее, с длинными узкими рукавами, лакированные черные туфли. Обошлась даже без ботинок, потому что за нами прислали машину.

Опять пошел снег, сквозь белизну светились редкие витрины закрытых магазинов, на ступеньках которых дремали старики и старухи в огромных тулупах в обнимку с большими ружьями. Это ночные сторожа, вид их вызывает у меня жалость и удивление. Почему они не идут в помещение, в тепло? Все говорят, что в Москве большая преступность, но ведь эти старики все равно ничего не могут! Патрик недавно рассказал мне о странностях в российском законодательстве: за убийство с целью грабежа дают всего десять лет, а за убийство на любовной почве, скажем, из ревности, – пятнадцать. У нас в Европе такие преступления разбираются особенно тщательно и караются, как правило, несильно, учитывая деликатный характер дела, но в России – все наоборот. Они считают, что нельзя, чтобы один человек относился к другому, как к своей личной собственности.

Подъехали к театру. Снег так сверкал под фонарями, что казался серебряным. Машины подъезжали одна за другой, из них выходили женщины в длинных шубах и меховых манто под руку с мужчинами, которые выглядели серо и буднично. Как всегда, очень много военных. У самого подъезда я сразу же увидела Дюранти, который курил папиросу и разговаривал с какой-то белокурой красоткой, причем они оба смеялись и казались очень возбужденными. У меня так заняла душа, что я даже приостановилась и чуть было не попросила Патрика отвезти меня домой. Но потом взяла себя в руки и смело пошла навстречу этому человеку, который почему-то имеет надо мной такую странную власть. Когда мы поравнялись, Патрик едва поклонился ему, а я очень небрежно кивнула, и мы хотели пройти мимо, но Дюранти оторвался от своей красотки и широко раскинул руки, как будто хотел заключить нас в объятия.

– Мечтаю вас видеть! – воскликнул он по-русски. – Как эта поговорка? «Кто что-то помянет, тому глаза вон!» Вы в ложе сидите?

Патрик сказал, что мы сидим в партере, и Дюранти вернулся к своей женщине, которая быстро окинула меня острыми и недружелюбными глазами. Слава богу, что он так и не позволил мне тогда! Теперь я, по крайней мере, понимаю почему.

Театр переливался всеми цветами радуги, все казались знакомыми друг другу, все раскланивались и улыбались, шуршали бумажки из-под шоколадных конфет, многие женщины, которых я увидела в ложах и в первых рядах партера, были сильно оголены и ярко накрашены. Я давно заметила, что русские женщины так же, как француженки, с молодости склонны к полноте, но полнота у них какая-то другая: не рыхлая, как у француженок, а мраморная, молочная.

Мы с Патриком сидели в одиннадцатом ряду. Вдруг я почувствовала прямо на себе чей-то взгляд. Такой напряженный и сильный, что у меня загорелась вся кожа под волосами! Я подняла голову, чтобы понять, кто это смотрит, и прямо, как будто глаза притянуло магни-

том, уперлась взглядом в смеющееся лицо Дюранти, который стоял в ложе, опираясь обеими руками на красный бархат и, не отрываясь, смотрел на меня. Мы встретились глазами, и он стал серьезным. Потом послал мне воздушный поцелуй. Я отвернулась и стала упрямо пялиться на сцену, где еще ничего не происходило. Вдруг все поднялись и захлопали. В царскую ложу уже входил Сталин, и с ним другие члены правительства. Все хлопали и смотрели на них, и я тоже смотрела, но глаза мои ничего не различали: красный бархат, огни и золото прыгали, все лица сливались. Что значит этот воздушный поцелуй, который он послал мне с таким многозначительным видом, как будто между нами существует какая-то тайна?

Хлопали минут десять, не меньше, потом Сталин сделал рукой жест, что он просит прекратить овации и переходить к делу. Тогда все уселись, не переставая глядеть на царскую ложу, но Сталина стало не видно – он скрылся за красной портьерой. Занавес разошелся, показали залитый светом деревенский полустанок, на котором толпились жизнерадостные люди. Потом они стали похлопывать друг друга по плечам, кружиться, один вдруг в восторге пустился вприсядку. Ты помнишь, я никогда не любила балета за фальшь, и, хотя мама много раз пыталась мне объяснить, что искусство – это условность, а условность не обязана совпадать с жизнью, во мне до сих пор все противится этому. Но такого, как вчера, я не переживала никогда. Сидеть в одиннадцатом ряду партера и смотреть, как лихо отплясывают наряженные трактористами и доярками танцоры Большого театра! Когда в деревнях такой голод! Когда я сама, своими глазами, видела фотографии!

Патрик сидел с таким лицом, как будто ему стыдно за то, что он сейчас в этом зале. Я положила ладонь на его руку, но он свою руку сейчас же убрал, как будто и это все лишнее. В антракте я сказала, что очень хочу пить, и мы с Патриком пошли в буфет, где были накрыты столы, на которых стояли букетики свежих цветов и бутылки с минеральной водой. Обслуживали публику официанты. Мы заказали по стакану чаю и пирожное для Патрика, я есть не хотела. Цены в этом буфете заоблачные, простым людям совершенно недоступные. Во втором акте началась настоящая вакханалия: колхозники и колхозницы бегали друг к другу на свидания, переодетые в чужие костюмы, как это бывает в классических комедиях и буффонадах, кто-то даже изображал собаку, которая катается на велосипеде, и декорации были под стать: везде лежали неправдоподобных размеров снопы пшеницы, корзины с красными яблоками, кукуруза, тыквы величиною с колесо. Короче, счастливое колхозное изобилие.

Ну и Шостакович! Был ли он хоть раз в деревне? А впрочем, какое это имеет значение, был или не был. Если людям не стыдно, никакие факты им не помогут, напротив, они станут только упрямее в потребности простить себе то зло, которое делают, особенно если считать, что искусству все позволено. Как это – все позволено? Ведь подлость есть подлость, и в искусстве она такая же, как и в жизни.

Когда мы выходили из театра, вокруг зашептались, что Сталину балет не понравился и он в середине второго акта уехал. Зрители выглядели смущенными, и никто ни о чем вслух не высказывался. Наверное, все боятся. Патрик сказал мне недавно, что в России очень быстро развивается доносительство. Детей в школах начали подстрекать к тому, чтобы они доносили на собственных родителей, запоминали, что родители говорят дома, не ругают ли правительство, не критикуют ли новые порядки. Какими же людьми вырастут эти дети?

Дюранти я больше не видела. Может быть, он заметил, что Сталин уехал, и последовал за своим кумиром?

### **Вермонт, наше время**

Отыграв на рояле, сверкающая красным платьем и красным на белом, напудренном, нежном лице своем жгучим румянцем, счастливая вызванным восхищением, Ольга Керн прошла между нестройными рядами стульев и уселась рядом с Ушаковым. Он ощутил запах сильных духов, исходящий от ее голого, мускулистого плеча, запах помады, свежий слой которой она,

по всей вероятности, только что нанесла на свои оттопыренные, в улыбке застывшие, плотные губы, – и волнение, вызванное не ею, не Ольгой Керн, но просто возникшей поблизости женщиной, волнение молодое и такое сильное, что он вдруг невольно заерзал на стуле, охватило Ушакова. Почувствовав это, самоуверенная Ольга широко раскрыла глаза и светлой, порхающей их синевою пробежала по его лицу и телу. Он хотел было ответить ей тем же, он уже развернулся к ней, но в это время в дверях зала мелькнула золотистая голова, которую он недавно видел среди сонных кувшинок, – мелькнула опять не лицом, но затылком, как будто обладательница этих волос играла с ним в веселую и слегка опасную игру. Забыв о своей соседке, Ушаков вытянул шею, чтобы проследить, куда она направляется, потому что, увлекшись разгоряченной Ольгой, он пропустил минуту, пока его русалка стояла лицом к залу, и заметил ее только тогда, когда она, отвернувшись, уже приготовилась уходить.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.